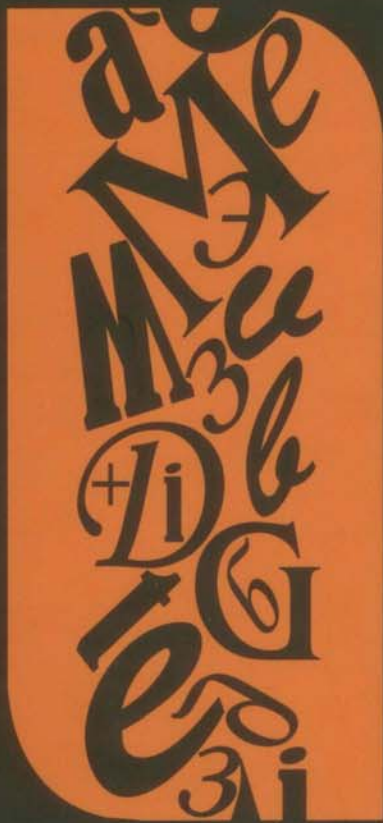


Игорь Белов



Белов И.Л.

Музыка не для толстых: стихотворения, поэма, переводы / Игорь Белов. -

Калининград: Тера Балтика, 2008. - 108 с. (Б-ка Правительства Калининградской обл.). (Серия "Калининградская поэзия").

ISBN 978-5-98777-037-5

Игорь БЕЛОВ

МУЗЫКА НЕ ДЛЯ ТОЛСТЫХ

Содержание:

I.

опора звука

«От сквера, где одни скульптуры...»

дредноуты

«Дрожит заката нервная полоска...»

стихи о Малыше и Карлсоне

«Последняя тяга раскуренной дури...»

Валентинов день

«Такси почти на взлет идет...»

Сердце ангела

«Горячий воздух, ордена, букеты...»

открытка из Вильнюса

«Унылый пейзаж заслонив чемоданом...»

II. Раскольников (венки сонетов)

III.

«Запутавшийся телефонный шнур...»

«Тонет смерть в полусладком вине...»

Хартбрейк-отель

На обочине

Рок-н-ролл

«Временами улицы пахнут мятой...»

«По улице немецкой узкой...»

Ералаш

Донна Анна

«Как зашагает музыка по трупам...»

«Магнитола с пятнадцатилетним стажем...»

«В этом доме, где окна, мне кажется, не от мира сего ...»

IV. Снежное семя (поэма)

V.

Снегурочка

Сентябрь

радио свобода

Артюрь Рембо

«Он тебя уже почти не слышит...»

«Пятно декораций без слов, без имени...»

Сладкая жизнь

Весь этот джаз

романс о ее приходе
Баллада о солдате
«В «Ливерпуле» мы сойдемся снова...»
Жерминаль

VI. Варшавский дневник

1. Аллея независимости
2. Summertime
3. Сквер поэтов

VII.

«Судьба на наши лица по привычке...»
«Пока умытый полдень весел...»
«Синий фрак – за стеклом, а метель до сих пор горяча...»
«Не пей, красавица, при мне...»
«Весна, сентиментальное кино...»
«Здесь купола, как деньги смятые...»
«В майский полдень от зноя желтеет трава...»
восток-запад
Пасхальные строфы
«Когда ты выключаешь свет...»
«Открытое окно – как откровение...»
последнее танго в Варшаве

VIII. Переводы

1. С украинского

Юрий Андрухович

Glory to the Camels

Just in between

Back in USSR

Сергей Жадан

Mercedes-Benz

Цыганские короли

Дезертиры

Галина Крук

«женщина режет вены...»

«называла рыбой, ничего не просила взамен...»

«укрывая большое в малом...»

Остап Сливинский

Сфера

Небо над Берлином

4:25

2. С белорусского

Андрей Хаданович

на дороге

сто пудов одиночества

Плакали, знаем!

Маленький нищий

долгая дорога до горшка

Интимная гигиена

Бармен-сюита

«ты знаешь кто такие боб дилан и дилан томас...»

«Две ложки соли на кружку теплого моря...»

Рождественский рэп

«Неведомые цветы лезут вверх на пределе эмоций...»

Праздник поэзии (по мотивам Андрея Родионова)

I.

опора звука

когда ты забудешь улицы списанные с натуры
все что хотела сказать и поэтому не сказала
эти сумасшедшие дома контркультуры
эти сердца пустые как заминированные вокзалы

оставь мне контрамарку в билетной кассе
распишись на афише смахивающей на парус
я поеду на твой концерт а выйду на пустой трассе
и увижу отлетавший свое икарус

где от карты прибалтики осталось два перекрестка
на черных от асфальта и крови ладонях
и обрывки музыки для подростков
разгуливают в сгоревшем магнитофоне

вот так мы поймем что не сыграть по новой
а мотор молчит наглотавшись боли
и очнемся на дискотеке в заводской столовой
холодной словно зимнее футбольное поле

не принимай это слишком близко
и смерть однозначно пройдет мимо
если с темной стороны жесткого диска
ты выдохнешь мелодию как струйку дыма

затянешься снова и удержишь дыхание
хотя его и так с избытком хватает
для занесенного снегом расширенного сознания
которое проснется – и вдруг растает

От сквера, где одни скульптуры,
до всяких окружных дорог
за мной присматривает хмуро
из гипса вылепленный бог.

Он видит – у ее подъезда,
с красивым яблоком в руке,
я словно вглядываюсь в бездну,

в дверном запутавшись замке.

Выходят Гектор с Менелаем,
катастрофически бледны,
в морозный воздух выдыхая
молитву идола войны.

Пока прекрасная Елена,
болея, кашляет в платок,
запустим-ка по нашим венам
вражды немеренный глоток,

и, окончательно оттаяв,
окурки побросав на снег,
сцепившись насмерть, скоротаем
очередной железный век.

Никто из нас не знает, словом,
в какую из земных широт
судьба с открытым переломом
машину «Скорой» поведет.

И сквозь захлопнутые веки
она увидит в январе,
что мокнут ржавые доспехи
на том неброском пустыре,

где мы, прозрачные, как тени,
лежим вповалку, навсегда
щекой прижавшись к сновиденьям
из окровавленного льда.

Встает рассвет из-под забора,
и обжигает луч косой
глазное яблоко раздора,
вовсю умытое слезой.

дредноуты

в баре «Дредноут» ночью мне снится свинцовый дым
кошмар на улице Генделя становится вдруг родным
пену морскую с кружек ветер уносит вдаль
а черным дырам колонок вообще никого не жаль

за стойкой меняют пластинку так долго ищут ее
будто меняют родину – ну или там белье
в меню полыхает надпись – одевайся и уходи
все правильно ставят группу по имени «Бигуди»

я вслушиваюсь как реки прочь от себя бегут
злодей вытирает лезвие о майку Johnny Be Good
любовь моя говорит во сне за ледяной стеной
и море шумит в заблеванной раковине жестяной

на деле же все не так и в этот сплошной отстой
с безалкогольной музыкой приправленной кислотой
приходит местное время с улыбкой но без лица
и разводит на жалость голосом Гришковца

вот мы сидим гадаем сколько нам ждать зари
если уже бледнеют ржавые фонари
на какие еще глубины опустится не дыша
наша с тобой бессмертная силиконовая душа

разве что просигналит в память о прежних днях
тонущий супермаркет весь в бортовых огнях
и проплывут над нами спутавшиеся уже
чьи-то тела из пластика или папье-маше

только бы взять тебя когда подойдет волна
на руки словно куклу выпавшую из окна
чтоб уловить в подъезде обнимаясь с тобой
искусственное дыхание ровное как прибор

Дрожит заката нервная полоска,
отчалил в небо голубой вагон,
по улице идешь Магнитогорской
на самый мёртвый в мире стадион.
Пустой консервной ёмкостью грохочешь,
ломаешь спички, гредишь наяву,
считаешь звёзды. Вечером и ночью
с баллоном пива у пустых трибун
стоят, отчизне милые до боли,
единого прекрасного жрецы,
горит луна и на футбольном поле

рассыпаны окурки и шприцы.
Ты сам себе и повод, и причина,
но пьёшь сейчас за тех, кто изобрел
страну, где настоящие мужчины
не в шахматы играют, а в футбол.
Мат-перемат со свистом перемешан,
над головами радио поёт,
твоё воображение тебе же
ударом точным мяч передаёт.
Все девушки в Октябрьском районе
твои отныне станут, потому
что ты один на этом стадионе
в аплодисментах тонешь, как в дыму,
и плачешь, угадав в кругу событий,
лишь проведя ладонью по лицу,
всю эту жизнь в её печальном виде
трамвая, уходящего к кольцу.
В ней будет много славного, дурного,
земной любви, бездарного труда,
друзья займут места у гастронома
и спорт большой оставят навсегда.
И ты, уже ударив по воротам,
увидишь, вытирая пот со лба —
отменят матч из-за плохой погоды
и заслонит фабричная труба
отмытое до солнечного блеска,
родное, как совковое кино,
окно с такой знакомой занавеской,
нечаянно разбитое окно.

стихи о Малыше и Карлсоне

*...Карлсон харкнул мимо урны и улетел
Данила Давыдов*

ради простуженных голосов в ночных магазинах
ради горячих сердец под капотами легковых машин
в центр города в полночь слетаются души красивых
умных и в меру упитанных мужчин

захватывают кафе и бензоколонки
ревнителю неглаженого белья
гроза отечественной оборонки

один из них ты а возможно я

они перегаром на звезды дышат
в скверах распугивают ворон
и отъезжает твоя стокгольмская крыша
в охваченный бурьяном микрорайон

ты ждешь пока фонарь под глазом потухнет
просыпаешься мертвый и больше вообще не спишь
и в один прекрасный день читаешь на стене в кухне —
“ты никогда не повзрослеешь Малыш”

жизнь справляется с нами одним ударом
когда осень на горло наступает со всех сторон
и все что горит это луна над баром
похожая на монету в пять шведских крон

и мы пьянем уже просто понюхав пробку
погибаем с грацией подбитого корабля
но по привычке ищем на брюхе кнопку
если вдруг уйдет из-под ног земля

Последняя тяга раскуренной дури.
Подъезд неумыт и, как небо, нахмурен.
Растоптан окурок. Пора, брат, пора.
Мы вышли и хлопнули дверью парадной.
Сквозь ливень, бессмысленный и беспощадный,
спускаемся в чёрную яму двора.

Отдайте мне солнца отцветшую душу,
квартал, где есть липы и бронзовый Пушкин,
есть горькое пиво, а горечи нет.
Разбитая улица, радио хриплое,
а рядом — две местные девушки-хиппи,
гитара, оставленный кем-то букет.

В причёске цвели полумёртвые розы.
По воздуху плыл разговор несерьёзный.
Навстречу единственной в жизни весне
ты шла босиком по проспекту Победы,
дразнила прохожих, и целому свету
смеялась в лицо, позабыв обо мне.

Последних объятий рисунок печальный,
бухло и наркотики в сквере вокзальном —
всё это, как ты повторенья ни жди,
скрывают похлеще разлапистой тени
мазутом пропахшие воды забвения,
в которых весенние тонут дожди.

Библейская тьма в опустевшей квартире.
Я еду в троллейбусе номер «четыре».
Я вспомнил лияные джинсы твои,
глаза твои ясные, мир этот жлобский,
расхристанный голос с пластинки битловской,
поющий о гибели и о любви.

Валентинов день

Неполученной открыткой болен мой почтовый ящик
и, беременный сюжетом, плачет, истины взалкав.
Даже твой любимый город замурован зимней спячкой
в кружева ночных кошмаров с очевидностью звонка.

В мире нецензурных книжек, в мире негуманных жестов
уходить, не попрощавшись, издавна заведено,
и на улицах уставших снега грязные манжеты
щедро залиты рассветом, точно розовым вином.

Рядом дождь февральский бродит, не находит себе места,
будто ангел, с поцелуем перепутавший укус.
Он придумал этот грустный виртуальный праздник секса,
нашим бабам вместо сердца прилепив червовый туз.

Разговор на остановке сыплет гильзами окурков,
на углу подросток чахнет с чайной розой у бедра,
и февраль, уже набрякший литургией переулков,
тычет мне в глаза смиреньем и искусством умирать.

Дождь традиций европейских, весь в занозах от распятий,
хлещет на родную паперть, дым отечества губя.
В этой патоке приличий полыхнет противоядием
маков цвет твоей помады на смеющихся губах.

...Дегустировавший женщин кенигсбергского разлива,

мой двойник в плаще измятом на вокзале водку пьёт.
Нас действительность спасала, а поэзия растлила.
Но и та не пожалеет. И с собой не позовёт.

Такси почти на взлёт идёт
сквозь дождь и ветер,
и радиоприёмник врёт
про все на свете,

и в свете этих миражей
и фар летящих
разлука кажется уже
ненастоящей.

Но всё развеется к утру.
Я стану снова
шатающимся по двору
глотком спиртного,

и горизонт сгорит дотла,
тоска отпустит.
Про эти, видимо, дела
с оттенком грусти,

да про лазурь над головой
и жар в ладонях
снял кино любимый твой
Антониони.

Среди бульваров, площадей,
и глаз печальных
проходит жизнь, и нет вообще
ролей провальных,

льет улица простой мотив,
вздыхая тяжело,
в кинотеатр превратив
кафе-стекляшку.

Но что друг другу бы сейчас
мы ни сказали,
не будет в кадре жестов, фраз,

иных деталей,

и, строчкой в титрах вверх поплыв,
исчезнем сами
за жёлтым контуром листвы,
за облаками.

Сердце ангела

Закурив сигарету, спускаешься в преисподнюю,
будто падая в шахту лифта, где самое интересное — впереди.
Она садилась в трамвай — джинсы, куртка на «молнии»,
фарфоровая улыбочка ангела во плоти.

В трущобах потрошили кур и воскрешали мертвых,
чернокожий гитарист отплясывал у костра.
Тебе мерещилась пентаграмма на женских бёдрах —
татуировка, исчезающая по утрам.

Ты приезжал к ней в гости на черную мессу,
и природа готовилась лечь под нож.
В комнате начиналась ночь по прихоти беса,
за окнами шёл ритуальный дождь.

Перед отъездом, взвинченный, как пружина,
чтобы узнать расписание, ты позвонил на вокзал,
а потом с таким голливудским шиком
выплюнул окурок и платье на ней разорвал.

Теперь ты спишь в своей ванной, не сняв халата,
не смыв следы крови с белых холёных рук,
и так безучастно глядит на тебя с плаката
спившийся ангел по прозвищу Микки Рурк.

Снится, что в баре столы и тарелки вертятся,
и гипсовый пионер играет блюз на жестяной трубе,
и что в груди у неё всё ещё бьётся сердце
со сплошной червоточиной в качестве памяти о тебе.

Горячий воздух, ордена, букеты,
хмельной закат, прожжённый сигаретой,

сирень. Уехать к морю в День Победы,
ни сна, ни яви не отдать врагу.
Плывет паром, и видно близко-близко
обветренные лица обелисков,
точёный профиль города Балтийска,
поддатого меня на берегу.

На берегу, где облако и птицы.
Из жизни глупой вырвана страница
очередная. Надо было становиться
убитым службой прапором, а не
пьянчугой в чёрной вылинявшей майке,
корабликом из жёваной бумаги.
Стать памятью о роковой атаке.
Стать кораблём, скучающим на дне.

На всём стоит войны упрямый росчерк,
и эта жизнь становится короче.
Красавица, а ну, лицо попроще,
всё начинаем с чистого листа.
Побудь со мной, пока это возможно,
пока весна вот так неосторожно
слова любви диктует пересохшим
от горькой жажды подвига устам.

Да будет — мир всем нам без исключения,
беседа в романтическом ключе и
на небе охрененное свечение,
когда, вздохнув над мутною волной,
меня, заснувшего у самого причала,
разбудит голосом прохожего случайного
судьба моя, такая беспечальная:
«Бери шинель, братан, пошли домой».

открытка из Вильнюса

Галине Крук

картонная бабочка выпорхнула из рук
и растаяла в воздухе хлопнув дверью
нержавеющий ливень молча стоит вокруг
и теряет время

я никогда не узнаю – настолько почерк размок –
где теперь тебя носит словно письмо в бутылке
и в каком кафе цеппелина свинцовый бок
распорот ножом и вилкой

под какими звездами дыхание затая
за тобой наблюдает уже полвокзала
а из динамиков льется через края
первый весенний гром со вкусом металла

я тебя буду помнить даже когда умру
так вот они и звучат на улице и в квартире
чайкам не обломившиеся слова на морском ветру
и не поймешь что в записи а не в прямом эфире

к северу от границы крутят песню о двух мирах
заткнувшую глотку морю и антициклону
это вильнюсский поезд несется на всех парах
жемайтийского самогона

Унылый пейзаж заслонив чемоданом,
разлука уже превратилась в безвременье,
дороги разбитые — в автобаны,
которым претит соловьиное пение.

Какая привычка — спешить на вокзал,
и с шиком гордиться перроном заплёванным,
где тает, как лето, у всех на глазах
вагонов сумятица — синих, зелёных.

Ты едешь сегодня. Напротив меня
смешки и улыбки погасли все разом.
Окурки — что бабочки. С этого дня
вся жизнь — путешествие третьим классом.

II. Раскольников (венки сонетов)

Наталье Черновой

надежды нет и я растрочен весь
а сон мой звякнет радостью в металле

так будет всюду только бы не здесь
алели тени с рюмочными талиями

лишь запах лета и рассвета взгляд
и ты закрыв глаза захлопнешь небо
я сам теперь как невидаль и небыль
чужими разговорами измят

едва очнувшись веришь всё сильней
раздетой ливнем улице твоей
над Петербургом сжалилась погода

отдав меня проспектам и дворам
вся повесть — не роман на вешних водах
а проклятая правда топора

1.
надежды нет и я растрочен весь
и то что мне принадлежит по праву
чужие люди продают на вес
а сердце на учёте у легавых

умыт рассветом и по горло сыт
газетным пойлом под названьем «осень»
с приправой острой из дождей косых
и вяленой жестокостью допроса

бессмертие здесь носят на руках
решёткой ставят точку на века
но запятые нам нужны едва ли

и если это вправду эпилог
тогда под утро загремит замок
а сон мой звякнет радостью в металле

2.
а сон мой звякнет радостью в металле
горячкой отзовется коридор
уже сегодня мне пересказали
подслушанный гранитом разговор

я видел небо цвета спелых слив
и Петербург переболевший гриппом
но треуголку мне преподнесли

моё Бородино и мой Египет

проспект ещё в пороховом дыму
хотя мой собеседник наяву
не маршал а квартальный надзиратель

и то что взято на прицел и есть
предчувствие любви и благодати
так будет всюду только бы не здесь

3.
так будет всюду только бы не здесь
пускай же разбивают лбы и крестятся
а мне милей залатанная лестница
и комнаты кладбищенская лесть

отплакав за чужих детей и жён
нам остаётся чуть пожав плечами
зарезать юность кухонным ножом
и утопить в тарелке щей отчаянье

я самого себя подкараулил
ни площадей растоптанных июлем
ни набережных мне теперь не жаль

ведь только там где косы расплетала
и за руки держала нас печаль
алели тени с рюмочными талиями

4.
алели тени с рюмочными талиями
и снова неуютно тополям
пока их в непогоду целовали
а поцелуй не стоил и рубля

пока перед пивной ломали шапки
и рассыпались пьяной ворожкой
походкою подстреленной и шаткой
отважно вылезая на рожон

над нами звёзд как мелочи в кармане
подъезд подошвы лижет всякой рвани
когда для сна застелена земля

и каждый день уликами опутан
пальто приносит с улицы под утро
лишь запах лета и рассвета взгляд

5.

лишь запах лета и рассвета взгляд
и эти руки вместо разговоров
в рядах смущённых пуговиц шалют
и второпях задёргивают шторы

улыбка голос шляпка взмах ресниц
и плюс любовь естественно за деньги
попробуй-ка с панелью объяснись
на языке своей судьбы-злодейки

ты говоришь что можно в восемнадцать
снять платье за огрызки ассигнаций
и не грубить при этом зеркалам

ты голубей подкармливаешь хлебом
и облаком с лазурью пополам
и ты закрыв глаза захлопнешь небо

6.

и ты закрыв глаза захлопнешь небо
как форточку такую синеву
отравленную и до слёз нелепую
ты больше не увидишь наяву

что ж Сонечка ещё не время каяться
ещё дорога эта как кисель
и то что за окном тебе не нравится
кровопусканьем вылечит апрель

беда приходит с утренней газетой
почти библейский поворот сюжета
нас выпотрошит росчерком пера

когда от писем остаётся пепел
мне незачем придумывать и врать
я сам теперь как невидаль и небыль

7.

я сам теперь как невидаль и небыль

но всё ж бесповоротно обречён
на комнаты где так скучает мебель
и запирают сердце на крючок

такое лето не поднять с колен
как нам не измениться ни на йоту
сегодня город мой сдаётся в плен
дождям ещё не вышедшим из моды

всё сызнава и то что я наплёл
не вспомнят и не вставят в протокол
и утро пробирается по крышам

застенчиво всплакнув из-за меня
а я как прошлогодняя афиша
чужими разговорами измят

8.

чужими разговорами измят
грядущий день в который плохо верится
пока мой враг кредитку разменяв
не приценившись в сердце чьё-то целится

империя с подвыпившим крыльцом
не лижет руки новым поколениям
и жёлтый полдень Лужину в лицо
швырнул перчатку как букет сирени

а завтра нашим улицам назло
чахотка подрумянит горизонт
как только захлебнёшься околесицей

тебе навряд ли станет веселей
и растерявшимся шагам на лестнице
едва очнувшись веришь всё сильнее

9.

едва очнувшись веришь всё сильнее
чужим словам как отраженью в зеркале
привыкнув разговаривать во сне
и не пенять на вечер исковерканный

и я молился девичьим плечам
когда мою печаль разделят надвое

со мной заговорит остывший чай
словами соблазненной гувернантки

на платье на подтаявшей свече
кровоподтёк от солнечных лучей
в такие дни я как рассвет встревожен

я ухожу не заперев дверей
но лишь сегодня ничего не должен
раздетой ливнем улице твоей

10.
раздетой ливнем улице твоей
ночь пригрозила в шутку револьвером
кругом дожди и те что посмелей
столицей зазываются к барьеру

что толку память подставлять под розги
когда ожившей тенью на стене
полузнакомой девочкой-подростком
моё «вчера» вдруг явится ко мне

откланявшись без видимой причины
таких как мы эпоха приучила
расплачиваться выстрелом в висок

закат умело полоснуть по горлу
чтоб как-нибудь намаявшись весной
над Петербургом сжалилась погода

11.
над Петербургом сжалилась погода
лишь побродив по мокрой мостовой
она б тебе сыграла как по нотам
когда б не облака над головой

рассеянных улыбок паутина
сегодня мне не сможет помешать
едва заря насмотрится в витрину
причёску поправляя не спеша

и лезвие ощутив в первый раз
стою на перекрёстке битый час
и тротуар мутит от обещаний

а кто-то еле вымолвив «пора»
тихонько поцелует на прощанье
отдав меня проспектам и дворам

12.

отдав меня проспектам и дворам
учебники и письма заскучали
а улица едва глаза продрав
весь день листвой как музыкой встречает

один лишь шорох платья за спиной
дороже всех других благословений
пока кладут поклоны на Сенной
и падает рассудок на колени

а исповедь поставит многоточие
в сухих отчётах и сегодня ночью
беду чужую на себя примерь

любовь оденет по последней моде
вся жизнь не «послезавтра» а «теперь»
вся повесть — не роман на вешних водах

13.

вся повесть — не роман на вешних водах
когда известно: если надоест
тебя от неприятных эпизодов
избавит тяга к перемене мест

ещё квартал парадных вереница
всё как вчера и потому наверное
я к вам сейчас сошёл бы со страницы
не поклонившись заспанным губерниям

здесь приласкают и всегда нальют
здесь даже часто говорят «люблю»
но мы под этим солнцем слишком разные

коль проберёт до самого нутра
то сердце переполнят не фантазии
а проклятая правда топора

14.

...а проклятая правда топора
всё объяснит на языке острога
и скоро все вопросы растеряв
дорога от растерянности вздрогнет

конвойные от скуки не спасут
и набожность слепая выше ценится
но кажется опять в седьмом часу
я поднимаюсь всё по той же лестнице

таких признаний я б не перенёс
уткнувшийся в подушку парадокс
навек безутешен и расстроен

как будто получил дурную весть
я повторяю словно заведённый
«надежды нет и я растрочен весь»

III.

Запутавшийся телефонный шнур,
журнальный столик, адресная книга,
хоть пару слов оставьте, я прошу,
от слякоти рождественских каникул.
Неактуален сигаретный смог
и остановка сердца неуместна,
и остается выйти за порог
ночного бара, выпав из контекста,
летающий снег порывисто обняв,
звонить, едва придумывая повод,
на линию потешного огня,
опасную, как оголенный провод,
и всякий раз, пока идут гудки,
мембрана от волнения не дышит,
вдруг понимать, молчанием каким
деревья припорошены и крыши.
Грустит река. Алеют кирпичи.
Сырая тишина вот-вот накатит.
И Кенигсберг растерянно молчит,
поскольку он отсутствует на карте,
и с этой пустотой наверняка
не справиться асфальту и бетону,

цветущим новостям ГТРК,
заброшенным кварталам однотонным.
Любовь сама диктует эпилог
и тоже испаряется, но только
когда ты отвечаешь на звонок,
на радостях меня сбивает с толка
такое чувство, будто в разговор
прошедшие вмешались дни и ночи,
немецкой речью вымощенный двор,
дождливый город, вся страна. Короче,
огромный мир, в котором так светло,
в который раз, я, право же, не знаю,
снимает трубку, говорит «алло».
И больше никуда не исчезает.

Тонет смерть в полусладком вине.
Наши дни по канистрам разлиты.
На войне этой как на войне
мы уже не однажды убиты.

Календарный листок догорел.
Кружит бабочка-ночь по окопам.
В подвернувшемся школьном дворе
мы стоим, как под Колпино, скопом.

А в квартале отсюда, чуть жив,
за безжалостным морем сирени
проплывает избитый мотив
в синеве милицейской сирены.

Это он на излете весны
выносил все, что свято, за скобку
и в твои нездоровые сны
авторучкой проталкивал пробку.

Так в борту открывается течь.
Золотое стеклянное горло
покидает невнятная речь,
проливаясь печально и гордо,

и поэтому ты за двоих
говоришь и целуешь и плачешь,

пахнут порохом губы твои,
но от слез этот запах не спрячешь.

Наши легкие тают, как дым,
и поскольку, по верным расчетам,
артиллерия бьет по своим,
не имеет значения, кто ты.

Наступает последний парад,
и бутылка с оклеенным боком
полетит, будто связка гранат,
в темноту свежесмытых окон.

Эта ночь обретет навсегда
смуглый привкус пожаров и боен.
Не любовь, не иная беда,
просто сигнализация воеет.

Только кажется, это поет
за разбитым стеклом и забором
мимолетное счастье мое,
громыхая по всем коридорам.

Хартбрейк-отель

Все, что происходит сегодня между нами, тянет на последний перекур на линии огня. Теперь любая песня на радио начинается словами: «С тех пор, как моя девушка бросила меня...». Время бросать любимых и собирать чемоданы, время останавливаться на кпп. Но где же вы, где, мои дальние страны, ведь только вами я обязан судьбе?

На этом чудовищно веселом старте таможенные правила бьют под-дых, и мой последний адрес найдут в миграционной карте, на которой не осталось точек болевых. Название этой гостиницы совпадает с названием города: отель, в котором вдребезги разбиваются сердца, в нем круглые сутки ставят запись, давно запоротую – мой первый винил, усеянный шрамами в поллица. День за днем меня, как флаг на ветру, полощет где-то, я беру на рецепции все, что мне по плечу, на мою кровать садится черный человек из гетто, вот только умирать я пока не хочу.

Вечерний эспрессо скоро съедет с рельсов, таблетка снотворного спросит – как дела? А потом мне споет обдолбанный Элвис про голубые туфли и розовый кадиллак, и что он готов отдать душу за рок-н-ролл, от любви теряет голову – а это полный пиздец, и она болит, когда тинейджеры играют ей в футбол в коридорах отеля разбитых сердец.

На обочине

Когда, не выспавшись, вы ссорились
в кафе на светлогорском пляже,
то ваше завтра, наспех скроенное,
вам не могло присниться даже,
пока до нищенства заветного
не доросли ещё, конечно же,
давясь экспромтами газетными
и сахар медленно размешивая.
От поколения потерянных
вот эта толкотня вокзальная
и синева, грозой подстреленная,
и лето, чем-то опечаленное.
Сиротство одеял больничных,
случайной ссадиной отмеченное
не учит соблюдать приличия
и кланяться любому встречному.

От поколения потерянных
ещё не знающая меры
и впопыхах, как день рождения,
любовь, в который раз уж первая —
в аудиториях, за партами,
за почтой утренней... За чаем
знакомые узоры фартука
на Петроградской вас встречают.
Когда не смяты, не оболганы —
плевать на влюбчивость скамеек,
коль подворотней пахнут локоны
и за душою — ни копейки.

Теперь не нужно прокламацией
на площадях себя развешивать —
на наших улицах остаться бы,
где мы так славно перемешаны,
где в каждой книге — по портрету,
по оплеухе — в каждой строчке,
и так неслыханно приветливы
улыбки запятых и точек.
А кто-то с галстуком — у зеркала,
и, кажется, не будет более

в июньском темнокожем пекле
рубаш, распахнутых до боли,
не будет ни решёток ласковых,
ни ваших диспутов похмельных —
не акварельными ли красками
разводят протокол в апреле?

От поколения потерянных
до эпитафии пригожей
погода на проспекте Ленина
сбивает с ног моих прохожих,
и вёсны пражские, как женщины,
им снятся вечером в трамваях,
и столько разного обещано,
что выполнить — уже не вправе!

Рок-н-ролл

В веренице нечаянных встреч и движений неловких
разукрашенных фраз, как звонков телефонных, не жаль.
Но всё чаще хотелось сойти на твоей остановке,
и к губам перечёркнутым целое лето прижать.

Значит, нужно сегодня, пока облака не остыли,
и летят из конверта пластинки тебе на ладонь,
Посадить на иглу чернокожий осколок винила,
чтобы в омут обоев вплыл голос, ещё молодой.

Этим грустным рассказом наш мир навсегда изувечен,
а чернильные сумерки, день на стихи изорвав,
и настольную лампу держа на прицеле весь вечер,
с неземной прямою лезут в душу, как лезут в карман.

Мы не знаем куплетов, слова нам никто не подскажет,
но знакомый припев, точно выкрик, гортань обожжет —
так родимые пятна дворов, тротуаров и пляжей
проступают на солнце — далеко, и значит, чужом.

Мне б испытывать действие времени с привкусом яда,
пережить все несчастья, от всех лихорадок страдать...
Только город притихший дурным, закатившимся взглядом
провожает троллейбус, и провод гудит, как струна.

Временами улицы пахнут мятой,
мир потрёпан, но всё-таки моложав,
и в подушку лицо неохота прятать,
целый ворох событий к груди прижав.
И, ресницы бессонницей окропив,
чей-то профиль нечаянно заслоняет
недостроенный храм на чужой крови,
взятый в скобки дождем в середине мая.
Скучно стало, и нечего рассказать,
даже книжные полки до блеска вылизаны —
прогуляться налево теперь нельзя
рука об руку с классиками марксизма.
Ну, а воздух на ржавом штыке повис
там, где мемориал, точно знак вопроса,
и в учебниках пригоршни стреляных гильз
кромку неба забрызгали звёздной россыпью.
Вот и твой подоконник сиренью взорван,
вот и музыка ловко петлёй затянута
на букетах, и память бормочет: «Здорово!»,
и фальшивые ноты в петлицах вянут.
Век наш короток, он не калашный ряд,
и пускай он точней, чем часы на спасской,
не сегодня, так завтра его до пят
обольёт некролог типографской краской.

По улице немецкой узкой
пройди с мелодией внутри.
Воздушного налета музыка
над сновидением парит.

Тебе приснился этот город.
Перелицованный войной,
он вроде ордена приколот
к сюжетной ткани бытовой.

Ну, здравствуй, просыпайся, что ли,
ведь города такого нет,
есть привкус объяснимой боли
у контрабандных сигарет.

А ты – проездом, и с вокзала
к руинам памяти чужой
спешит, сияя краской алой,
автобус с пламенной душой.

И под восточно-прусским небом,
все понимая наперед,
держа равнение налево,
неподражаемо пройдет

любовь, как новость рядовая,
и нам останется одна
развязанная мировая
неслыханная тишина.

Ералаш

Неделя до каникул.
Вся жизнь — как на ладони.
А ты с открытой книгой
сидишь на подоконнике,
до одури красивая,
в отстиранной до блеска
рубашке, юбке синей,
сняв галстук пионерский.
Был зелен школьный сквер.
Мне снились на уроках
Дантон и Робеспьер,
патлаты, как рокеры,
но где теперь, дружок,
страна моя и школа?

Адреналин, ты сжѐг
героев рок-н-ролла,
и тень ложится на
их лица, чуть живые.
Другая им цена,
и мы — совсем другие.
Так редко, стороной,
кивнув чужой свободе
обритой головой,
вчерашний день проходит,
не расправляя плеч,

не опуская ворот,
но для нечастых встреч
уже и это — повод.

Ну, вспомни — целый мир:
неслыханное будущее,
зачитанный до дыр
роман несуществующий,
погасшая звезда,
рифмованные жалобы,
большие города,
магнитофоны ржавые,
зеленоградский пляж
с забытым полотенцем —
весь этот ералаш
в отдельно взятом сердце.

Верни его, и пусть
звучит над променадом
припев, что наизусть
ты помнила когда-то.
Плюнь на взаимосвязь
судьбы и нервных клеток,
любовь не удалась —
станцуем напоследок.
Пусть, вырубая свет
и не жалея легких,
хрипит живой концерт,
зажёвывая плёнку,
а с фотографий выцветших
глядят на этот праздник
от праздников отвыкшие
друзья и одноклассники,
святые и подонки,
скучающие зрители —
мальчишки и девчонки,
а также их родители.

Донна Анна

Снег в октябре — всё равно, что удар ниже пояса.
Подмосковье болеет рассветом, и рассеивается туман.
Всё, что тебе остаётся — это восемь часов до поезда,

сюжет для повести и пластиковый стакан.

В твоём родном городе полгода стояла жара,
на вокзале цвела черёмуха и плакал аккордеон,
но наступают заморозки, печалится детвора,
беспольный оккупировав стадион.

Твои кавалеры бритоголовые дерутся на площадях,
проклиная буржуев и не сочувствуя алкашам,
а разговор о политике и прочих серьёзных вещах
давно уже пахнет смертью, как афганская анаша.

Анна, ночь на исходе, прошлого больше нет.
Ты придёшь на работу, наденешь белый халат
сестры милосердия, снова увидишь в окне
провонявший лекарствами листопад.

А всё остальное забыто — пережито, точней.
Лишь вспоминаются умершие от ран
собутельники мужа, сгинувшего в Чечне,
да застреленный бандитами Дон Жуан.

Как зашагает музыка по трупам,
шарахнув в развороченный висок,
мы выйдем в вестибюль ночного клуба,
где прошлое меня сбивает с ног.

Вот наша жизнь, сошедшая с экрана,
в которой мы в правах поражены.
Мы пьем живую воду из-под крана,
и белоснежный кафель тишины

целует в лоб мелодия любая,
и, зная, что не выручит никто,
плывет на выход, кровью заливая
борта демисезонного пальто.

Но в парке божьем хлопает калитка,
под каблуком земля поет с листа,
поскольку на еще живую нитку
заштопаны холодные уста

такой убойной стихотворной строчкой,
что до сих пор, имея бледный вид,
пропитанная водкой оболочка
над аккуратной пропастью стоит,

и все никак не делает ни шагу,
пока из лампы хлещет свет дневной,
и врач уставший ампулу, как шпагу,
ломает у меня над головой.

Магнитола с пятнадцатилетним стажем
преподносит букетик дрянных аккордов.
Пахнет порохом облако так, что даже
ощущаешь угрозу в кусочке торта.

Засиделись, молчим. Эта чашка кофе —
точно гвоздь, на который картина повешена.
Наши чувства споткнутся на каждом слове,
даже если слово — такое нежное.

В суматохе вечер проходит мимо,
начинив походку привычкой бегать,
что-то сдуру наспех шепнув любимой
и чужую шляпку припудрив снегом.

Уходя, оглядываться не нужно,
ведь проспектам, улицам — всё едино.
Ничего, что захлопнута дверь снаружи
и прочитана книга до середины.

Речь бедна, и наличие в ней длиннот
и обычай кавычек — не портят дело:
это только подстрочник, не перевод
с языка простыни и сорочки белой.

В этом доме, где окна, мне кажется, не от мира сего,
я бы прожил не всю, но, по крайней мере, полжизни,
чтобы время сбечь, а потом, всем на зависть, легко,
снова наспех одеться, к другой направляясь отчизне.

Если б только, копеечкой в кармане моём звеня,
с неизменно дурацким упорством секундной стрелки,
наподобие боли зубной, не преследовало меня
ощущенье того, будто я не в своей тарелке.

Ну, а так — я бы жил здесь, смотрел бы с балкона вниз,
как лихой первомай нашей улице режет вены,
каждый год замечал бы, что двор по весне раскис,
оттого что весна здесь всегда необыкновенна.

И когда-нибудь первый этаж в этом доме займет кафе,
чтобы утро хоть раз испупало взгляд мой в дешёвом блюде,
чтоб я мог посидеть за столиком, произвести эффект,
твёрдо зная, что зрители где-нибудь да найдутся.

Мне сидеть бы напротив тебя с обречённым видом,
сразу чувствуя строгость причёски, каблучка реверанс,
неотзывчивость юбки... И фразами, в кровь избитыми,
неизвестно зачем развлекать тебя целый час.

И вот так бы привык, сохраняя нейтралитет
в перебранке дверей, половиц и почтовых ящиков,
с лёгкой грустью думать, что больше на свете нет
ничего другого — а тем более настоящего.

IV. Снежное семя (поэма)

1.
Навек остывает
заляпанный скорбью
и трауром копоти
чайник.

Нагретая снами
ночь рвет на куски
негативы вечерних пейзажей
печальных.

Больничная простынь метели
на смуглых обложках
курортных романов
лежит,
как на лицах убитых,

скрывая улыбок открытые раны.

А ты эмигрируешь в снег
– в эту новую книгу,

и вот запятые дрожат,
как ресницы,

и заросли белых стихов
расцвели беленой
на удобренных солнцем
страницах.

Нас жжет амнезия черемухи
и прошлогоднего лета.
Еще один век погибается,
в третьем параграфе
скормленный раковым клеткам.

Промокли желания в марте.
С утра метастазы снежинок
напичкали телеэкраны.
Жаргон будет пахнуть Монмартром.

Но сердце,
как банку консервов,

нам вскроет верлибр телеграммы,

вернет наши улицы
с проседью
первого снега,
табачную исповедь кухни,
с квартир обезвоженных съехав,

ломая всех наших
отчетов,
зарплат,
понедельников
койки прокрустовы,

взрывающей жилы
инъекцией

нового чувства.

2.

Румяное утро
встает над обрубками строчек,
похмельной метафорой
выглажен твой черновик.

Вздохмаченный парк,
по старинке
упрям и заносчив,

к измученной рифмами лексике
вроде привык.

Еще полумесяц
пятном не запекшейся крови
глядит из цензурой припудренных
строчек
газет.

Поэты сегодня,
как свечи пасхальные,
кротки,

пока на скамейках рассеянных
вянет рассвет.

Случится такое,
наверное, и у меня,
когда, разбросав
свою память
по чьим-то могилам,

на фронте бессонниц
безропотно пулю
приняв,

искусство заставит
мозги полоскать
анальгином,

зеленые губы каштанов

впитают вранье,
мир будет дымиться
конкретной такой
скотобойней,

Париж переедет
на сутки
в соседний район,
покинет поэмы,
и станет другим,

но сегодня

на зависть лугам,
расцветающим в стиле Моне,

смазливый дождям
и потокам
незрелых восторгов,

любовь
караулит меня
не на книжный манер,

железным пером
вырезая на сердце

автограф.

3.
Этот день был дождями изранен,
но жив.
Будто нет, а посмотришь –
так вот он.

Май смывал своей кровью
позор,
отражавшийся в окнах,

и пожар полупьяных шоссе
с синяками колдобин,

баритон
подворотен,

бубнящих гитар
и куплетов оловых,

фейерверки сирени,
встающей над этой скамейкой,
как над Хиросимой,

фотовспышки грозы

и неоновый профиль
России.

В полутемных редакциях,
скукой свинцовой прошитых,
в старомодный
прокуренный грохот

печатных машинок

этот день заправлял
пулеметную ленту
поэзии.

Сердце пело в термометре,
градус гоня по цельсию,

гонорар за карманы цеплялся
свидетелем эры застоя,
оседая на зыбкое дно

неземного
застолья.

Небо выдано
плотным куском синевы

в откровенно нетвердой
валюте,
освежая шеренгу сонетов,
не вышедших в люди.

Мимо, мимо....

Маршрут выбирать не приходится.

Фонари - в нищете.
Наши улицы - вечные модницы.

Так я шел к ней –
любить,
проповедовать,
каяться,

и вся зелень планеты
теряла сознание
в сугробах акаций,

и с балконов сигналил нам флот простыней,
что есть силы
намекая на чувства,
супружеским сексом
застиранные.

Но на этих частотах
нам не заикаться
пластинкой семейного счастья.

Сон распят поцелуем,
как девственность – первым причастием,

подменив зажигалки церквей
куполами цветных абажуров.

Тротуары Европы меня предают,
у подъезда свое отдежурив.

Ты выходишь ко мне
загорелым осколком апреля.

Тет-а-тет.

Это значит –
не к месту нахлынувший
ужас дуэли.

Разговор о любви -
перестрелка с мадонной да Винчи.

Все пропало,
мой друг.
Не прострелен сюртук безразличия.

Каждый шаг будет снова раздавлен
весенней распутицей.

Этот ливень
по горло застегнут
на каждую пуговицу.

Не поймешь,
чем закончиться может борьба
со звонками чужими,
если голос готов
намотать на кулак
проводов сухожилия.

Пусть хмельная изжога заката
теряет тебя
на разбавленном содовой
Западе,

провоцируя
всем авторучкам знакомое
сердцебиение слякоти,

даже если ты вышла во двор
с черной псиной с пластинки Лед Зеппелин,
снявши голову
сорной траве,

что вставала
рассеянной цепью.

Это новая правда –
я помню,
себе говорил я,
что глаза цвета моря
когда-нибудь срежут нам
крылья,

и потянет на дно,
не найдя уже лучшего места,

одинокое плавание

с зеленоглазым
подтекстом.

*...И в то время,
пока вся страна
репетирует*

*бесконечный военный парад,
костью в горле застрявший
у целого мира,*

он подносит к губам сигарету,

*и чувствует
сразу*

*запах войн мировых
и любовных
соблазнов,*

*понимая,
что ночь на дворе,*

*и в шеренге скамеек уставших
лишь одна занята.*

И душа у нее – нараспашку.

V.

Снегурочка

На декабрьское солнце невозможно смотреть без слёз.
Вот за праздничный стол нас сажает зима-белоручка,
вот директор моей конторы — стриженный Дед Мороз —
и его секретарша в амплуа белокурой Снегурочки.

Всё, что было, то сплыло. И, как говорится, жаль.
С ней у нас много общего, начиная с любви к отчизне.
Но сегодня моя Снегурочка пропивает свою печаль,

прижимаясь к крутому плечу настоящей жизни.

У неё в глазах праздник, лучше которого нет,
на коленках — сценарий, дурные стихи и застольные речи,
и приходится пить за разбавленный водкой сюжет,
за движенья души, от которых ей дышится легче.

Вечер быстро теряет форму. Уйдёт из-под ног земля,
начинаешь цепляться за воздух, стараясь не падать духом.
Запомни это обилие предметов из хрусталя,
снег за окном, шампанское и декольте главбуха.

Юность иронизирует, роняя лицо в салат,
зрелость судьбу испытывает по законам большого рынка,
но кто-то из нас, коллеги, всё же летит в Ленинград —
целоваться с польской кинозвездой-блондинкой.

С легким паром, страна; ты очнёшься сегодня днём
в вырезителе, и распишешься в побледневшей штрафной квитанции.
...Захожу в квартиру, и — надо же — в доме моём —
дискотека, бардак. И Снегурочка приглашает меня на танец.

Сентябрь

Ты помолись, чтоб услышало наш разговор
лето, школьным звонком расстрелянное в упор
там, где написано: «Вход со двора», и эта
надпись теперь приветливей вывески на пивной.
Правда, понять это можно не сердцем, но головой,
так как дождями сердце, точно свинцом, задето.

Только вручить бы зонтик мокрой от слез душе,
целый набор обещаний вместо карандашей
можно с собой на урок отнести в портфеле.
Ветер, взъерошив причёску, как ты — блокнот,
вновь желтизной обесценившихся банкнот
сыплет под ноги девушкам, как Рокфеллер.

А в учебнике шар земной вертится, как юла,
не потеряв равновесия — пока ещё. Зеркала
впитывают блеск тифель и глаженной униформы.
Мы отныне все одинаковы, как в строю.
В стаю сбившись скорей, сантименты летят на юг,

потому что им места нет среди теорем и формул.

Даже классик в прятки играл со своей судьбой,
написав как-то раз, что праздник - всегда с тобой,
ведь, на фото застряв, лето плохо ложится в память.
...Как и в прошлом году, равнодушный к чужим рукам,
мел безбожно крошится, но только теперь к словам
«до свиданья», «до встречи» уже ничего не прибавить.

радио свобода

как ты эту станцию ни назови
путаясь в потемках и FM-именах
продолжается виндсерфинг во имя любви
на коротких и длинных радиоволнах

небесный ди-джей голубой плейбой
в чистом эфире расскажет тебе
что мы уходим под воду и звучит отбой
исполняемый среди ночи на медной трубе

ложись-ка рядом со мной на дно
желтая подлодка с пулей в груди
на мокром асфальте бордовое пятно
что там еще ждет тебя впереди

когда в радиорубку пускали газ
статуя свободы оживала на раз
на платье для коктейлей проливая двойной
венсеремос разбавленный феличитой

а теперь другое дело пусть грянет гром
перекрестившись самолет взлетит
голоса ставит на ноги кубинский ром
словно божий промысел набранный в петит

он закрывает студию гасит свет
пастырь гопников король шпаны
покупает револьвер в пляжном кафе
прячет его в свои драные штаны

и выходя из тени могильных плит
генштабу всего мира вышибает мозги

хотя нет патронов и курок барахлит
и ствол завязан двойным морским

Артюр Рембо

Предчувствия — в форточку, зеркальце — прямо к губам,
которым в конверте уже не цвести незабудкой.
Клянитесь, что лестница больше не лопнет по швам,
а новый протез заласкает её не на шутку!

Как будто февраль — весь издёрган сонетом. Озноб —
на каждой скамейке, уже перепачканной мелом.
Беги же из дома, и хоть головою — в сугроб,
пока не изрублен в капусту бессонницей белой.

Сестрица, не помнишь ли — станция, вечер... Один.
И как не привыкнуть к пружинам чужого дивана,
когда не лохмотьями платят за дерзость витрин,
за хлеб, с подоконника брошенный отрокам пьяным.

Ни к чёрту ночлежки, а сердце её — как Париж,
когда наглотеется солнца больничная койка,
когда по утрам с забинтованных рифмами крыш
спускается вниз аромат баррикад и попоек.

А завтра — одеться; и поезд, и в профиль Верлен,
дожди, точно грипп, и одни лишь плевки в колыбели,
пока в синяках от панелей, окошек и стен
идти, унося на плечах миллиарды Брюсселей!

Он тебя уже почти не слышит,
наэлектризованный тобой,
он садится на паром подгнивший,
театрально помахав рукой.

Завтра он вернётся, а сегодня
палуба пульсирует под ним,
ждут его скамейки-подворотни
и большого города огни.

Атмосферный слой бельё полощет,

медленно ржавеют корабли,
пиво, разливаемое в Польше,
всюду хлещет, как из-под земли.

Он круги по городу мотает,
дышит на милицию вином,
спотыкается, как запятая,
добавляет водки, а потом

на проспект, в такой привычный ужас,
выходя по битому стеклу,
он ломает руку, поскользнувшись
в баре на заблёванном полу,

чуть проспится в трюме, выпьет снова,
заскучает, за борт упадёт,
в сумасшедший цвет закат багровый
перекрасит пассажирский флот.

Это целый мир уходит в море,
так беги к причалу — всё равно
нет его ни дома, ни в конторе,
ни за грязным столиком в пивной.

Только ни к чему вам эта ретушь,
лирика, сплошное барахло,
потому что с временем прошедшим
не в ладах оконное стекло,

за которым, по уши в лазури,
как живой — не веришь? посмотри! —
твой герой перед подъездом курит
и прохожих первых материт.

Пятно декораций без слов, без имени,
развязка — как сломанный карандаш.
На что променяешь теперь любимых
и домик картонный кому отдашь?

Кругом ни души — ну кому тут верить?
Финал предсказуем, как вздох «люблю»,
пока горизонты европ-америк

по нашим дорогам дождями бьют.

Хоть ездите в столицу за идеалами,
хоть бегаете за алкоголем в сельпо,
пока идеалы не стали алыми,
не спаяны молотом и серпом,

не скормлены целой стране в буфете —
кто здесь завсегда, а кто на час,
не так ведь и важно, когда на свете
не будет уже ни меня, ни вас,

когда реквизит зацветёт со скуки,
устав от гастролей и от премьер,
смертям бутафорским целуйте руки
и смело берите билет в партер.

Сладкая жизнь

Мы убиваем время в кварталах, глухих и диких,
там, где кольцо трамвая и неземной рассвет,
там, где мятая скатерть цветёт пятнами от клубники
и о жизни в розовом свете поёт кларнет.

Шляется по квартирам в моей дорогой провинции
музыка, из-за которой во двор забредает дождь.
Что же он все плетёт разные небылицы,
исцарапанный голос прошлого, мол, прошлого не вернёшь?

Ангел мой, расскажи, почему это так очевидно,
что, когда опустеют скверы, перепачканные листвой,
лето кончится, и, как следствие, обломается «дольче вита»,
и в лицо дохнёт перегаром город наш золотой.

Буду с грустью смотреть, шатаясь во время оно
по усопшему этому городу, забуревшему от тоски,
как на улице на Воздушной своего компаньона
бьют ногами в лицо черножопые «челноки».

Вечер кажется кулак сквозь завесу табачного дыма,
но разбитые губы шепчут бережно, будто во сне:
«Я люблю тебя, жизнь. Я уверен, что это взаимно»,
и играет пластинка в распахнутом настежь окне.

Весь этот джаз

Когда весь двор забит оранжевой листвой,
уже нет разницы, что будет с нами завтра.
Ты только посмотри, вон там знакомый твой
наяривает джаз в кафе у драмтеатра.

Ах, летнее кафе, бегущая строка,
большой телеэкран и эхо стадиона!
Уносит прошлое гниющая река,
лежащая среди промышленных районов.

Но только с музыкой и это не беда.
Оркестр покурит и настроит инструменты,
сыграет что-то очень нежно, и тогда
вернёт любви твоей счастливые моменты.

Играть он будет, не взглянув на календарь,
покуда время, что всему идет на смену,
в прямой эфир радиостанции «Янтарь»
своим дыханием не сдует с кружки пену.

И этот день не ждёт, промокший, золотой,
мелодию свою он обрывает, дурень.
Он паузу берёт. И до сих пор в пивной
про белый теплоход поёт Антонов Юрий.

романс о ее приходе

дождь не вернулся с пляжа
чего же тебе еще
от четырех затяжек
сходит загар со щек

стремный как запах дыма
с фарами в пол-лица
поезд проходит мимо
не возвращается

ты надиктуй мне адрес
вот он весь твой багаж -

беспонтовый каннабис
и роковая блажь

чем мы живем – неважно
на середину шоссе
гильзы летят бумажные
и умираем все

кто из нас задохнется
если весна придет
видишь как сердце бьется
словно рыба об лед

значит не отвязаться
перепродав тайком
пепел цивилизации
смешанный с табаком

в будущем недалеко
открывается дверь в подъезд
в левом и правом легком
нет свободных мест

Баллада о солдате

Закурим на прощание, и вдоль трамвайной линии
один из нас отправится — так отпусти меня,
дождём отполированный парк имени Калинина
с печальными приметамы сегодняшнего дня.

Был праздник, было целое столетие в прострации,
друзья лежали пьяные, как павшие в бою.
Был дождь, толпа растаяла, всю цветет акация,
вино и страсть, как водится, терзают жизнь мою.

А на скамейке выцветшей, среди живых и мёртвых,
ведёт беседу с облаком под перезвон листвы
старик в бейсболке розовой и в пиджаке потёртом
с неполным рядом пуговиц и рукавом пустым.

Отгрохотала музыкой и холостыми выстрелами
большая жизнь, привыкшая не замечать в упор.
Взгляни, как героически в руке его единственной

дрожит слегка увядшая «Герцеговина Флор».

И он уходит медленно, молчанья не нарушив,
а в старом парке отдыха, под небом голубым,
асфальт блестит, и радио транслирует «Катюшу»,
и исчезает молодость, как папиросный дым.

Любуясь мокрой зеленью, дрянную запись слушая,
пойму, как верно, милая, рифмуется с тобой
простая эта песенка про яблони и груши,
и безусловно книжные туманы над рекой.

И я пойду по городу сквозь центр, искалеченный
войной и русским бизнесом, шагая всё быстрее
туда, где неизменная весна и наши женщины,
живущие на улицах разбитых фонарей.

Закат над новостройками растаял, небо хмурится
и ночь большими звёздами на плечи мне легла.
Идет солдат, шатается, по грязной, тёмной улице,
но от улыбок девичьих вся улица светла.

В «Ливерпуле» мы сойдемся снова,
словно солнце мы похоронили в нем,
и за разговором бестолковым
время целой жизни проведем.

Белой ночью, почернев от скуки,
разведенный мост, едва живой,
немудреным символом разлуки
расцветает в небе над Невой.

Ничего уже не понимая,
вертится пластинка так, что вдруг
музыке внимает не пивная,
а портовый город, и вокруг –

на реке, в соборе, на вокзале,
в парке и в домах из кирпича,
слышно, как в прокуренном подвале
на гитарах мертвецы бренчат.

Я махну им кружкой запотевшей,
чтобы наша общая беда
в голосах, давно перегоревших,
растворилась раз и навсегда.

Просто нет у них иной заботы —
зазвучит вступление, и вот —
сердце человеческое ноту
самую высокую берет.

Жерминаль

Наконец-то апрель, вечера облаками парят,
спинку стула слегка удивив невесомостью блузки.
Непогоду клянёшь, суетишься с ключами в дверях,
и опять календарь что-то шепчет стене по-французски,

что вторая неделя на убыль идет, как на казнь,
что эпоха улыбчива, как мостовые Парижа.
Эта улица помнит заржавленных лезвий наказ,
но его для порядка на наших подушках запишет.

Снова день позолоченный вместе со спичкой погас,
протянув к телеграфным столбам бельевую верёвку.
Хоть бы краешка платя губами коснуться сейчас,
впрочем, сделаешь это, конечно, смешно и неловко.

Полунищий апрель поднимает окурок с земли,
всё как будто не то, только ты — неужели так близко?
Слава богу, что краски ещё не совсем отцвели,
потому что со мной уик-энд говорит по-парижски.

VI. Варшавский дневник

1. Аллея независимости

О чем тебе рассказать? Откуда отправить открытку?
Дорога на главпочтамт, забытая мной, отвыкла
от дружеской переписки с её избранными местами,
которая наше прошлое, как фотоальбом, листает:
вот это пивная, кондитерская, вокзал, вход в метро, а это —
любовь моя в светлой блузке не помню какого цвета.

Я стою у открытой форточки. Вечер к одежде липнет
с его никому не известным штрих-кодом ливня,
что, в общем-то, не препятствует изучению внешних данных
двадцатилетней соседки, принимающей ванну —
вот, кажется, и дождался милостей от природы,
и всё потому, что в полночь не отключают воду

ни в центре, ни в старом городе, ни даже на этой улице,
похожей на ксерокопию страницы из конституции,
оставленную в туалете публичной библиотеки,
всю в пятнах большой политики.

Вчера ещё были деньги,
сегодня — одни амбиции, уверенность, что столица —
бесплатное приложение к приветливым женским лицам.

Незнание языка объясняют болезнью роста
объёмов внешней торговли, так что по-русски сносно
общаются лишь свидетели второй мировой войны,
а вовсе не те, кого хочется погладить ниже спины.
Я долго не мог настроить приёмник, и каждый вечер
в эфире шёл дождь, разбавленный музыкой польской речи.

Не правда ли, непогоду пора оставлять за кадром?
Блондинкам июнь к лицу, и лицо без клейма загара
воспринимается улицей как тело, почти инородное.
И солнце не хуже действует, чем перекись водорода,
хотя в наши дни в Варшаве ничто так не красит женщину,
как полное равнодушие к разлитой в газетах желчи

по поводу наркоторговцев, купальников, мыльных опер
и очагов слабоумия в уставшей от войн Европе.
Под окнами — сонные ивы с испорченным настроением,
вокруг — темнота аллеи, когда-то лишённой зрения,
и, кажется, эти губы привычное «завтра увидимся»
не произнесут. И любовь не перерастёт в зависимость.

2. Summertime

Summertime, and the living is easy...

В безымянном кафе напротив грохочет весь день бильярд,
и солнце нагло в квартиру прёт, игнорируя тополя,
сквозь надоевшие заросли неглаженного белья.

На стенах грустят картины, теряющие рассудок.
Закат никогда не сочувствует обесточенным фонарям,
лишь письма и фотографии — и те от стыда! — горят,
в то время, как город уже демонстрирует всем подряд
самое, что ни есть скверное время суток.

Верный законам жанра, надрывается соловей,
рядом пьют водку шляхтичи неголубых кровей,
в Польше не делят публику на «шестёрок» и королей,
даже окрасив эмоции в цвет черепичной крыши.
Выйти на улицу под названием Новый Свят
и прогуляться к фонтану, пока все спят.
Хочется стать человеком, поворотившим вспять
крестовый поход прогресса свиданьем с Мариной Мнишек.

Она оставит вязание, сняв халат,
уместный, как послесловие к отступающим холодам,
напомнит нотную грамоту, сладкую, как халва,
споёт мне о том, что летом не жизнь — «малина»,
о том, что отец деловит, а мать — хороша собой,
и скоро забудется мелкий дождик, едва живой,
особенно, если улицы, зашторенные листвой,
тебе улыбаются... Что ж ты молчишь, Марина?

Летом казаться старше — неслыханный моветон
для тех, у кого образ мыслей сединами убелен.
И вечерами дурью напичканный Купидон
целится в каждое сердце, периодически мажет.
Южный загар слишком жалок на вздрагивающих плечах —
кто объяснит, почему до сих пор по ночам
ты плачешь навзрыд, оставляя свою печаль
наволочке с символическим изображением пляжа?

Если ты слышишь музыку, то, чего в жизни нет
можно увидеть воочию, не выпив, но опьянев.
Сердце Шопена, хотя бы и замурованное в стене
собора Святого Креста, совсем не пустое место.
Знаешь, Марина, нагромождение памятников и святынь
не удивительней, чем на асфальте выросшие цветы.
Ради спасенья души совершенно не стоит учить латынь,
пусть даже город Париж всё-таки стоит мессы.

3. Сквер поэтов

На кухнях гудят отголоском привычек старорежимных
игривые радиоволны с дефектами речевыми.
Живая природа вне конкурса, тем более что неживые
цветы на обоях слишком навязчиво расцвели.
Разбавь свою пресную драму интонацией оперетты,
не удивляясь дождям, просочившимся в утренние газеты.
Лучше свести знакомство с компанией местных поэтов,
гуляя в поисках счастья, продающегося в разлив.

Их сквер переполнен стихами с привкусом фатально незрелых вишен,
из них половина — гении, но здесь они явно лишние,
когда же, подсев к ней поближе, перехожу на личное,
и вечер до неприличия наполняется синевой —
поэзия выполняет функции бронезилета,
в то время, как в пепельнице уже тлеет — чужое — но все же лето.
К чему здесь все ваши верлибры, пани Эльжбета?
Я, пусть и выучив польский, не понял бы ничего,

так как чтение вслух неуместнее, чем границы
в объединённой Европе или фраза «Откройте, полиция!»
в тот самый момент, когда ты объясняешь ей, что не влюбиться
не мог, спотыкаясь в грамматике и путая времена.
Сегодня даже Мицкевич — не больше, чем просто памятник
эпохе, в засаленном смокинге ползающей по паперти.
Часы бьют полночь. Что к этому может ещё прибавить,
будто от малокровия страдающая, луна?

...Я собираюсь домой, уже не понимая, что же
делаю здесь, и какой день недели бездарно прожит,
а из-за стойки кивает бармен, немного похожий
на персонажа поэмы, которой две сотни лет.
Вспомнить бы адрес и телефон, причёску, цвет глаз — да где уж!
На изувеченной памяти проклятье лежит, как ретушь.
Завтра мне уезжать. Налейте-ка, пан Тадеуш —
вспомню дорогу к вокзалу, поеду и сдам билет.

VII.

Елене Погорелой

Судьба на наши лица по привычке
рассеянно наводит объектив.

Оттуда пулей вылетает птичка.
Стоим, на веки вечные застыв.

Среди чужих улыбок неподвижных,
печалью непроявленной влеком,
блуждает праздник. Фотоснимок дышит
душистым, точно роза, табаком.

А вот и ты, окружена друзьями,
которых еле видно на просвет,
пока жестикулирует огнями
ночной проспект.

Он озадачен поиском героя,
как вдруг, назло волшебному зрачку,
меня плечом не помню кто закроет,
и я исчезну, словно по щелчку.

Задержится, без примеси рассвета,
слепое отражение в окне
и ввинченная в воздух сигарета.
Но этого достаточно вполне.

На фоне роковых пятиэтажек
я буду, не оставившей следа,
деталью обреченного пейзажа,
с тобой оставшись раз и навсегда.

И ты с тех пор, не выходя из дома,
сквозь ненормальный уличный галдеж,
бог знает по каким фотоальбомам
меня так просто за руку ведешь

(когда б я помнил, из какого хлама,
красивого какого барахла,
любви и смерти скрытая реклама
рождалась, говорила и цвела).

Поэтому не бойся, умирая,
глотать вот этот воздух золотой.
И если гибель ракурс выбирает,
поправь прическу, повторяй за мной:

«... пусть нам ни дна не будет, ни покрышки,

пусть жизнь, как спичка, гаснет на ветру,
сейчас я прикурю от фотовспышки —
и не умру».

Пока умытый полдень весел,
есть время повернуть назад,
чтоб тихой грусти занавесок
не попадаться на глаза.

Казалось, комната не рада,
что, побывав в твоих ладонях,
губами расписалась радуга
на белом бланке подоконника.

Усталым вишням не зазорно
рубашку сбросить, точно маску,
коль перевёрнуты озёра
последней рюмкой первомайской.

Мы всё на свете растеряем,
и голос вымокнет до нитки
на сумасшедших расстояниях
от поцелуя до калитки,

и если снова будет вечер,
тогда в обманутом саду,
чуть подмигнув плечам доверчивым,
чужие окна зацветут.

Синий фрак — за стеклом, а метель до сих пор горяча,
подморожен рукав, в луже радуга пахнет бензином —
это битой посудой звенит под ногами печаль,
разбазарив добычу и стол на себя опрокинув.

Все одно к одному — точно туфельки тают в снегу,
и уже воротник накрахмален до дыр менуэтом,
и в сочельник окно догорает на каждом шагу —
всё повалится на пол, в дверях сквозняком пообедав.

Лотта, вам ли любить до рождественских первых морщин?

Надавайте-ка лучше пощёчин беззубому веку —
парика не снимает ваш почерк без веских причин,
но и хвастать не станет упрямой походкой калеки.

Нынче ночью от пороха разом седеет висок.
Чтоб набросок романа не мёрз у чужого порога —
отвернуться от пули, как молодость чья-то, босой,
и швырнуть полководье чернил к потолку в эпилоге.

Не пей, красавица, при мне,
а просто протяни мне руку
и, как на приводном ремне,
закрыв глаза, ступай по кругу

разлук, объятий, облаков,
ведь все настолько обратимо,
что с этим справится легко
глоток серебряного дыма.

Ты говоришь, мол, не вернуть,
ни прошлого, ни человека.
Замрет, как в градуснике ртуть,
непрожитая четверть века,

которая навек прошла.
Такая жаркая эпоха
уже остыла, как зола,
и ей от алкоголя плохо.

Ее артерии разят
конкретно проржавевшей кровью.
И вылечить ее нельзя.
Не лечится — и на здоровье.

Но ты-то слышишь все равно,
что грохот зимних улиц смело
летит в открытое окно
в заснеженном халате белом,

звонишь подруге поутру,
хоть вы не виделись со школы,
и плачешь: «Лена, я умру,

умру от одного укола!».

Не плачь и слов не говори,
лишь поведи разбитым ликом,
туда, где снегопад горит
в своем падении великом.

И ты успеешь разглядеть,
ощупывая мир вслепую,
несвоевременную смерть.
Другую жизнь. Совсем другую.

Весна, сентиментальное кино,
глухих дворов невысохшие слезы.
Пока ещё заклеено окно
с нелепой жёлтой трещиной мимозы.

Снег падает, прогнозу вопреки,
на всю географическую карту.
На улицах бухие мужики,
а на календаре восьмое марта.

А ей с утра звонит один джигит,
почувявший специфику момента,
но трубка глушит остроту флюид
и чувственность кавказского акцента.

В каштановых аллеях тишина,
сияют лужи, как большие кляксы,
от стужи гибнут розы, а она
трамвая ждет у памятника Марксу.

В трамвае том, уже который год,
приятелей за плечи обнимая,
я еду ей навстречу, только вот
пока об этом не подозреваю.

Плывёт, темнея, вечер голубой,
я узнаю пейзаж полужнакомый,
мешая с пивом привкус неземной
разлуки и похмельного синдрома,

и вижу, как, под снегом и дождем,
она стоит, почти неразличима.
Я всё смотрю и, мысленно её
целуя в губы, проезжаю мимо.

И потому, залившийся вином
в густом дыму гнилого ресторана,
её колено гладит под столом
кривой мордovorот из Еревана.

Здесь купола, как деньги смятые,
поклон не дольше двух секунд.
Пальто, заштопанное слякотью,
ещё чернеет на снегу.

Согреты строчкой из евангелия,
такой рождественской и пряной,
звонком трамвайным, хором ангелов
прогулки наши неприкаянные.

И в темноте — так повелось —
слова молитвы не угаданы,
но к запаху твоих волос
примешивался запах ладана.

Морозный вечер пробкой выстрелит,
а на столе лежит, как встарь,
эпохой целою залистанный
атеистический словарь.

И буквы — до чего же молоды —
молчат, как провода оборванные,
и в телефонной будке холодно
от снежного скрыватьсЯ вороха.

В майский полдень от зноя желтеет трава,
пахнут первой грозой голубые экраны.
Невозможный портвейн номер семьдесят два
разливает Акимов по белым стаканам.
Выпиваешь, пока ещё держишь удар,

крутишь ручку приёмника вправо и влево,
перекрыв ржавяющий скрежет гитар
разговором о жизни такой вот нелепой.
В самом деле, как странно сложилась она —
в старших классах, чуть сердце сильнее забилося,
ты за партой мечтал о стакане вина,
о концерте с участием группы «The Beatles».
Проклиная грядущий последний звонок,
шпарил взгляд, подгоняемый силой привычки,
от раздвинутых воображением ног
до окрашенных локонов географички.

Твой состав приходил на вокзал для двоих.
В область бреда отчалила средняя школа.
обработал дыханием улиц своих
пыльный город, внимательный к женскому полу.
Мир любви, он тебе кислород перекрыл:
балансируя между залётом и дракой,
ты, наверное, около года прожил
с полюбившей тебя выпускницей педфака.
Всё, что можно, в красивых глазах прочитал,
образ жизни был блеском винила разрушен,
алкоголь добивал, но живая мечта
растянула в улыбке лицо, потому что
всю буквально весну, я не помню уж, как,
но вчера, в прошлый вторник, в апреле и в марте,
пили водку с Коляном до дрожи в руках,
а сегодня в Москву прилетел Пол Маккартни.

Он рассеянно смотрит на башни Кремля,
и брусчатку знакомый мотив лихорадит,
только здесь уже полночь, и спят тополя,
и поэтому, милая, музыки хватит.
Остаётся одно теперь, как ни крути —
навестить ещё раз нашу тихую пристань,
душной ночью с любимой в обнимку пройти
вдоль по улице этих — ну, как их? — Радистов!
Я рассказывал, помнишь — боярышник цвёл,
во дворе с пацанами поддали «Столичной»,
говорили с Михайловым за рок-н-ролл,
за стихи и за что-то ещё, как обычно.
И вернувшись, пластинку впотьмах отыскав,
я настроил вертушку, по корпусу врезав,
и, глотнув из горла, дожидался, пока,

на весь дом заиграет фрагмент «Марсельезы».
А потом, наплевав на удары в стене,
так доходчиво и доверительно даже
объясняли битлы: все, что нужно тебе,
это, парень, любовь, а всё прочее лажа.

восток-запад

в ее квартире ничего уже не поместится
только запах чужого города который и так не прост
ты вспомнишь наволочку с изображениями полумесяца
в окружении выпавших из обоймы звезд

нам поет колыбельную азия-эвтаназия
на губах высыхает чер-р-р-тово молоко
ржавый корпус европы забрызган арабской вязью
а кому щас легко

атлас вечного мира потерян что твой рассудок
ты пьешь из ее ладоней пока они глубоки
будущее в прошедшем предсказывает рисунок
высоковольтных линий ее руки

подберешь окурок на пустой лестнице
только тишина так и давит на звонок
да еще ее знакомые чеченки-смертницы
иногда к ней заходят на огонек

а те кто в драных шинелях выходили на разогрев
у королей поп-музыки с их блевотой про пять минут –
круглые сутки тусуются в парке забронзовев
и с места они не сойдут

в городе мокром и грустном отражаясь в брусчатке
бродит дым сигаретный бродит дым голубой
русский глобус подпоясанный экватором со взрывчаткой
вертится над головой

Пасхальные строфы

I.
Такие вечера — последний штрих

на выцветший иконостас обоев.
Остатки солнца в городах больших
лежат, гидрометцентр успокоив.
Пройти бы с ней хотя б ещё квартал —
история полна широких жестов,
хотя давно невинность потерял
видеоряд евангельских сюжетов.
«Любите, Бога ради, по любви», —
в провинции, а также в граде стольном,
подчёркивает радиоэфир
с отчётливым акцентом колокольни.
Он выветрится из чужих квартир
и взбудоражит улицы, но только
твой колокольчик прикусил язык,
поскольку он фальшивит в общем хоре,
и день, лишённый привкуса слезы,
растаял, как конфета за щекою,
и даже у церкви в глазах темно.
Апрельской ночью до руин зачитан
собор на голом острове. В окно
глядит печаль в очках солнцезащитных.

II.

Нам снится прошлогодний променад
и этот день, предпраздничный, наверное.
Все свежие газеты променяв
на поцелуй, запутавшийся в вербах,
одна шестая суши замерла,
вдруг став размером с пляжную кабину,
прижавшись к морю. Выпей за меня,
кагор глотая пополам с обидой.
Сегодня тот же плещется мотив,
а пляж, длиной в три новых киноленты,
пьёт пиво, анекдотом закусив,
и раздает девчонкам комплименты.
Венера, в четырех шагах застыв,
поддатых отдыхающих напротив,
глядит на это дело из воды.
Конечно же, грустит — и не выходит.

III.

Сгорают утро. С кладбища — назад,
домой спешит, от зноя обессилев,
опохмелённый пролетариат,

поправив фото на родных могилах.
Уснувший в позе снятого с креста,
мир буржуа не просыпался будто,
и лишь в моём отечестве весна
задумчиво пьёт кофе в позе Будды.
Мы проклинаяем солнце за поджог,
гордимся, чувств высоких не скрывая,
останками империи чужой,
завёрнутыми в белый плащ с кровавым
подбоем. В обезвоженных полях
бредёт солдат с улыбкою экранной,
у цезаря по-прежнему болят
воспоминаний колотые раны.
Но Древний Рим едва ли виноват,
что на погонах тоже звёзды гаснут,
Балтфлотом наспех перебинтовав
уродливый обрубок государства.

IV.

На улице играет в домино
чертовски небольшой процент неверующих.
Спускаешься по лестнице бегом
в закусную, как в бомбоубежище.
Буфетчицу ты балуешь вином,
от дня грядущего отгородившись
взрывной воронкой прошлого. На дно
его взглянув, не видишь всё равно,
как из червя стать персонажем Ницше.
В неоновой безвкусной синеве
каштаны дымовой завесой плотной
спасают от позора Кенигсберг,
английской авиацией обглоданный.
И ты встаёшь. И знаешь, что с утра,
вновь сигарету у тебя стреляя,
сосед с лицом апостола Петра
поздравит по ошибке с первым мая.

Когда ты выключаешь свет,
уходит дом на дно
большого города, и нет
уже ни одного

полупрозрачного окна,
и только фонари
стоят, лишившиеся сна,
похолодев внутри.

По черным лужам тень моя
шагает все быстрее
и, у фонтана постояв,
встречается с твоей.

Прощай, статистика разлук.
Но самый первый снег
роняет взгляд на все вокруг
из-под прикрытых век.

И, где-то через полчаса,
сквозь зимний бледный рот
прорвутся улиц голоса,
брусчатка оживет,

мотив привяжется простой,
и, как тут не крути,
теперь уже у нас с тобой
расходятся пути.

А ты, как прежде, по утрам
у зеркала стоишь,
помада придает губам
цвет черепичных крыш,

блестит оконное стекло,
не зная, чем помочь.
И жаль, что в городе светло,
что не наступит ночь.

Открытое окно — как откровение,
и взгляд уже пренебрегает прозой.
Поэзия — лекарство внутривенное,
когда июнь чуть дышит под наркозом.

Я знаю, наше прошлое измерят
страницы, не имеющие возраста,

чтоб онемевшие каштаны верили
в отравленную гениальность Моцарта.

И мимо нас, стихами одурманенные,
брели войной подстриженные рощи,
вползал в сентиментальные романы
неуловимый призрак пугачевщины.

Нам подарил Мадрид ухмылку волчью,
и русский бунт нам вывернул карманы,
когда в подъезде, чёрно-белой полночью,
мне подставляла губы Донна Анна.

последнее танго в Варшаве

нас обоих развозит от слов разлуки плюс ко всему
валит с ног огненная вода фри-джаза
извините панове я футболку с тебя сниму
это все проблемы снимает сразу

все что мы взяли у музыки мы ей всегда вернем
и она оставит нам – без вопросов –
только нервные клетки пахнувшие зверьем
и не добитую до смерти папиросу

то ли дождь прошел то ли в причёске сверкает лак
по-любому для нас с тобой облака на порядок ниже
наши короткие жизни проглатывает мрак
словно видеоманитофон – кассету с «Последним танго в Париже»

бог моего сновидения он ни хера не прост
за круглосуточным баром и черными гаражами
музыку не для толстых он делает в полный рост
значит будет еще у нас детка последнее танго в Варшаве

пусть шляется за тобой невыспавшийся конвой
каждый кто был в разной степени тебе близок
и пограничник-поляк загранпаспорт листает твой
как донжуанский список

ржавая магнитола играет на дне реки
в кинозале включают свет и я слышу голос почти забытый –
вставай тут Марлон Брандо погиб за твои грехи

а ты спишь как убитый

VIII. Переводы

1. С украинского

Юрий Андрухович

Glory to the Camels

Из нас получилась бы до того прекрасная пара,
что мы подошли бы даже для рекламного ролика.
Примерно такого:

За стойкой бара сидит Он.
Через несколько стульев – Она.
Вот Она начинает копаться в сумочке.
Он протягивает ей
открытую пачку сигарет.
В ту же секунду Она успевает найти в сумочке
свою.
Он смеется.
Она улыбается.

Следующий план:
две пачки кэмелов на стойке бара
одна возле другой,
одна возле другой.
Пепельница, окурки, дым.

Потом снова:
Он и Она вместе выходят из бара.
Разумеется, в будущее.

Надпись:
СИГАРЕТЫ «КЭМЕЛ» –
САМ ПО СЕБЕ ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА!

Оставалась пара пустяков:
подобрать музыкальный фон,
договориться об интерьере и массовке,
решить, что там с будущим.

Сначала было несколько
неплохих писем.
Потом кто-то из двоих впервые задержался с ответом.
Потом это стало нормой, потом отвечать
стало обязанностью.
Жизнь вернула на место все, что хотела.
Теперь остается думать:
а было ли вообще что-нибудь, кроме дыма?

Но какого черта ты, чудище,
давил свои желтые окурки в пепельнице
так отчаянно, словно погонщик верблюдов,
по ошибке допущенный в приличное общество.

Just in between

...это примерно так, как с гостиничными
номерами –
выселение до двенадцати,
то есть мы закрываем дверь,
сбегаем вниз
и сдаем ключи на рецепции.

Но что номера?
Что происходит с ними без нас? Что делается
со всей этой путаницей простыней, со всем бардаком,
всеми полотенцами,
подушками,
пеплом в пепельницах?

Так же ли сдувает его
оконный сквозняк?
Так же ли капает кран
в ванной? Отпотевают ли
в конечном итоге зеркала?
Что в нем видно?

(как сказал бы Классик:
*О, много бы дал я за то,
чтобы только увидеть,
что происходит с номером,
который я навеки покинул!*)

Ясно, что потом появляется горничная,
чтобы стереть каждый малейший след
после нас, словно нас и не было.
И это ей удастся.

Ясно и то, что позже
здесь появятся другие, новые
постояльцы.

Но что происходит в период *между*?
Между нашим отъездом и появлением
горничной?
В гостиничном номере,
где так близко лежалось вдвоем,
так близко дышалось?

Back in USSR

*Не было меня так долго...
Марцин Светлицкий*

Не было меня так долго,
что совсем ничего и не изменилось.

Та же вонь на лестнице,
тот же кавээн по всем каналам, кроме первого,
но на первом даже кавээн был бы за счастье,
хотя какие могут быть опять шутки
по поводу сала?

Писем как таковых нет,
лишь какая-то сука регулярно
подбрасывает под дверь то квитанции за неуплату,
то «Курьер Кривбасса», то другую фигню,
как, например, приглашение
на презентацию
сицилийских бронезилетов
или на выставку детского рисунка
«Наш дом Украина».

Я знаю, что наш дом Украина.

Я отворачиваюсь к стене

и закрываю глаза
с желанием проспять лет пятьдесят,
после чего не проснуться.

Сергей Жадан

Mercedes-Benz

Глубокая ночь стояла над нами,
и звезды светили нам с небес.
И вот именно такой глубокой ночью
мы выбирались из бундеса.

И когда такая ночь и никого вокруг,
и по радио все говорят лишь по-польски,
на крайняк – по-немецки,
всегда вспоминаешь всех родных и близких.

Вот и я вспоминал себе, вспоминал, и не мог вспомнить.
Как же так, думал, вся жизнь – как это
польское радио: никакого тебе уважения к православным,
демократия, думал я, ебал я такую демократию.

Что скрывала эта ночь? С чего все началось?
Партнеры в Берлине, стрелки у русской синагоги,
нормальный курс, гарантия на полгода
с правом продления.

И вот эта женщина, эти ночи, полные огня,
отель, в котором она работала,
и я шептал ей – Натаха, твое сердце сейчас в моих руках,
я чувствую, какое оно нежное и горячее,
и она смеялась, отводя глаза – придунок, ну это ж не сердце,
это силикон, отпусти его, это совсем не сердце, сердце у меня твердое и
холодное,
как хоккейная шайба.

И вот мы вместе выбирались из бундеса, с ее документами и моими долгами,
словно Мария и Иосиф на двух ослах,
покупая на заправках только необходимое –
консервы и презервативы.

Уже где-то под Варшавой, когда и консервы не лезли,

и радио глохло от усталости, я начал засыпать,
поднимаясь в поднебесье.

И тогда на трассе появился мотель.

Она его заметила первой.

Первой она в него и вошла.

Натаха, просил я ее, только не радио, еще
пару часов, Натаха, дай остыть своему силикону,
выключи на хуй это радио «Мария», что ты хочешь услышать?
Какие новости могут быть у католиков?

У них нет новостей со времен последнего крестового похода.

Дай отдохнуть своему сердцу, шептал я, доставая
свои пилки и ножницы,
дай ему отдохнуть.

Через два часа, проснувшись, вытащил ее из душа и перенес
в машину. Ну, думаю, в самом деле – не прятать же ее в багажник,
тупо как-то:

любимую женщину совать в багажник, пусть уже сидит рядом со мной,
доеду до Мостыська – похороню по-людски.

И уже на самой границе, не знаю, что со мной случилось,
утро было холодным и свежим, и я
на минутку вышел себе отлить.

И вот тогда они и вычислили наш мерседес –
трое берлинских знакомых, которые шли по следу, вынюхивая нас
среди темных дорог, теперь стояли возле машины и говорили –
тихо, говорил один другому, телка спит, он где-то рядом, тихо,
не разбудите телку,
не разбудите телку.

Что такой смурной, братишка, - спросил украинский таксист,
уже на выезде из Мостыська, - что за дела? А что я мог ему сказать?
Я словно пилот Люфтваффе,
так, будто юнкерс мой подбили, а сам я успел выпрыгнуть.
Мне бы радоваться, а я стою посреди леса,
и лишь повторяю: блядь, ну откуда здесь столько
белорусских партизан?

Ну что, дальше водитель начал петь,
ясное дело – бандитские песни,
такие помороченные, что их никакими словами не перескажешь,
но примерно такое:

не плачь, мое сердце, не плачь,
не мучь свою душу картонную,
мы еще встретимся
где-нибудь за кордоном

пройдя таможду
еще повезет увидеться
по ту сторону жизни
где-то в районе Винницы.

я эти люблю равнины
даже без кокаина,
небо в мартовских тучах,
но ты меня, сердце, не мучай.

брошу все, что вынес,
перепродам свой бизнес,
выйду на берег Дуная
и в ящик сыграю.

Цыганские короли

И вот цыганские короли тоже отходят к темным лесам,
короли криминала и парков культуры, время отойти от дел,
перепродать бизнес, к темным лесам, к озерам забвения.
Призраки черных цыганских королей с золотыми ладонями,
призраки, которые были со мной всегда, и вот когда их
начинают отстреливать, как кабанов, пробивая серую щетину,
как не вспомнить все эти рассказы про отрезанные головы на цыганских
могилах,
ого, думаю, и правда – как не вспомнить, они никуда и не
девались, короли маленьких городков,
даже если небо упадет на землю, они продолжат высыпать
песок из желтых ботинок,
все, что в других культурах пишется на тысячах страниц
церковных книг, они вмещают в надписи
на своих предплечьях,

цивилизация, что держится на золоте и сахарной вате,
о, цивилизация отмывания банкнот,
цыганские короли исчезают между деревьев,
жизнь была долгой и печальной,

смерть будет легкой и незаметной,
следующая жизнь также будет долгой,
долгой-долгой,
легкой и печальной.

И вот последний цыганский король, приехавший стопом из Польши,
рассказывает нам про методы ведения бизнеса, про свое путешествие,
сначала жизнь отстреливает тех, кто стоит на стреме, - объясняет он, -
смерть ходит кругами, круги сужаются, страх подступает к горлу,
время уходит к озерам забвения,
дорога за мной устлана трупами женщин и золотыми портсигарами,
я собрал дань со всех, кого смог вспомнить,
мой фольксваген горел, как берлинская синагога,
и мои дети, как сороки, снимают мониста с женщин во сне,
а встретившись у магазинов старой одежды,
едят кукурузу, словно играют на губных гармониках.

Сначала жизнь пытается убрать свидетелей,
голоса тех, кто исчезает, ужас тех, кто остается,
и колонны автобусов с их семьями въезжают в темноту,
высвечивая фарами территорию смерти,

и вот

по траве, растущей вдоль обочин дорог,
по насыпям, где не растет трава,
они переходят, от усталости не чувствуя ног,
на ту сторону травы, где она тоже жива.

И ты спрашиваешь траву – зачем ты дальше растешь?
Зная, что трава будет и дальше расти
между тем местом, откуда ты, вообще-то, идешь
и местом, куда ты хочешь прийти.

Пока на другую сторону переходят они сквозь лес,
с той стороны травы слышно, что смолк почти
их шепот, и кто из них еще не исчез,
тот, словно собственный шепот, исчезнет, как ни крути,

слышно, что сердцу уже ничем не помочь,
слышно, как среди насыпей немых
сначала они из этой жизни уходят прочь,
потом жизнь медленно уходит из них.

Дезертиры

Я начну с того, с чего стоит начать –
с посвящения всем, кто не дождался
лучших времен, времен, когда
все расслабятся и можно будет наконец
перевести дыхание.
Но мертвые не переводят дыхания,
ага, точно не переводят.

Ну, так хорошо все начиналось, так
грезилось, курва, что вот еще
пару зим,
пару депрессий,
пару выблеванных сердец,
главное дотянуть до тридцатника,
а там уже легче дышится,
проще ведутся расчеты.

Главное заботиться о друзьях, помнить
все пьяные обещания, что
давались со слезами и соплями –
что вот, мол, вытянем, прорвемся,
поставим эту жизнь раком.

Ну и что – вот она, жизнь.
Стоит раком.
Никакого желания.

Друзья сломались,
словно первые советские танки,
и грустные это были смерти, скажу я вам,
я и врагам не пожелаю
таких смертей,
тем более, что враги тоже
сломались,
как танки.

И вот сегодня,
когда под вечер ветер приносит ливень,
даже некому позвонить,
осталось с десятков друзей,
но что из того –

мои друзья бухают,
у них сейчас запой,
такое впечатление, что я
дружу с каким-то
наркологическим
диспансером.

Остаются их дети,
еще их дети. Сейчас им, понятно,
звонить тоже без понта,
но, черт с ними – пройдет
какое-то время и они выйдут на улицы
и отомстят за своих
героических отцов.
А там, глядишь, и те вернуться –

все дезертиры, обкуренные циркачи,
чуваки в мундирах французских добровольческих корпусов,
что патрулировали дороги
во время балканского конфликта,
вернутся химики и астрономы,
которые жгли небеса над Дунаем,
все злые гении бирж, помороченные души,
все эмигранты, которые опустошали склады бундесвера
в осенних полях,
весь этот бесконечный караван, затерявшийся во времени,
обоз, который прятался
от одной облавы
до другой.

И когда они наконец выберутся
на сушу,
о, когда они выберутся,
тогда я не позавидую
инженерам,
которые борются за наши души.

Главное, чтобы нам всем хватило любви.
Главное, чтобы нам всем хватило желчи.

Галина Крук

женщина режет вены
потому что не хочет старости
привычно кухонным ножом
как будто вскрывает шпроты
квелый ангел,
дебелый доктор и санитар-очкарик –
та еще компания для этой грязной работы
от их идеализма у нее кругом идет голова
и катится бледное солнце за киоск напротив
как ей улизнуть
проскользнуть ей как
в узкий порез от ножа
и каким ей потом коридором
если все как один будут против
вихрем выносит ее -
просто так – «тху...» -
по спирали аорты
доктор подносит ей зеркальце -
думает, все-таки женщина,
а вдруг передумает, может
но – дудки, ни за что, никогда,
уж если она идет, то идет
женщина, знаешь ведь сам – упрямое существо,
прости ее, Боже...

называла рыбой, ничего не просила взамен
только знать, что я есть где-то на этом свете
белом как будто соль тропических морей,
что въедается в кожу
и не вытравить больше кристаллы эти
говорила, что будет писать,
не спрашивала адреса, впрочем
всегда присылала открытку из какого-то странного места
где (на открытке, то есть) руины старых домов
или блюда местной кухни
и несколько слов:
что скоро вернется, что уже виден свет
в конце тоннеля, и что это, конечно, не поезд
называла рыбой
писала, что очень хочет коснуться рукой
я и не против я жду плаваю все быстрее
выучил наизусть все прибрежные воды

я перестал выходить на берег,
 боясь разминуться с ней,
а она - не приходит
я устал говорить и дыхание - словно растаяло,
молчаливой и сильной рыбой
 становился я день ото дня,
так какого же дьявола
 какого морского дьявола
она вернулась
 и из воды вытащила меня?

укрывая большое в малом,
 она всякий раз боится таможни
сжимает чемодан с наклейками
 клейкими от страха пальцами
а вдруг кто-то из них присмотрится к ней повнимательнее,
спросит строго:
 а что там у тебя внутри, девочка?
волнение выдает ее с головой,
 сдается, что все они,
как на рентгене, видят то, что в ней спрятано:
эту скифскую бабу с плоской старческой грудью,
эти застрявшие в самом сердце мечи с инкрустированными рукоятками
этот прикрытый непослушной прядью
 лик иконной Богородицы
эти укрытые в глубинах памяти
 рукописи с выцветшими уставами и полууставами,
с роскошными, как на ценителя, полями...
эти кириллические буквы, несъедобные для их глаз
и наконец - то, что на самом дне -
 тяжелые наркотики жизненного опыта,
карманный вибратор, мама-анархия,
убеждение, что иногда террористы *правы* бывают тоже,
запрещенная литература: от «перверзии» до «порнографии»¹ -
как все это вписать ей в декларацию на таможне?...

Остап Сливинский

¹ Названия романов современного украинского писателя Юрия Андруховича и польского классика XX века Витольда Гомбровича. — Прим. пер.

Сфера

Почему-то носом шла кровь, словно сердце снова искало выход.
Я сначала ничего не понимал, думал, ты плачешь,
Пытался остановить такси, надо мной, аплодируя, смеялись водосточные
трубы,
Гасли квадраты кофеен, дорожные знаки указывали друг на друга:
Колокольчики и рыбы, золотые космонавты, стакан воды с раскрошенным
стеарином,
Взбаламученная рождественская игрушка. И ты – внутри этой игрушки,
Что издает свою механическую радость. Пианола Марлен
Сама сыграет элегию храброго снега, сама приструнит погоду и возьмет тебя
на крючок.

Моя сфера, полная дыма и огня, всякой случайной музыки!
Сердце и легкие вибрируют, как приграничные мосты, еще теплые и мокрые
на рассвете:
Узники собственного движения, чучела туч, соломенные быки.

Небо над Берлином

Сердце стучится ко мне, будто я еще ничего не знаю.

Был короткий звонок, а потом – долгое ожидание на пристани,
возле частных катеров, там, где кончалось Ванзее
и начиналось что-то другое – пролив? В котором вода пахла зеленым чаем,
подсвеченная изнутри целым министерством субмарин.
И я ходил по набережной, двое русских забрасывали удочки, хотя
что они надеялись поймать в такое время? Голоса, шпионские раковины,
зафиксировавшие 1942-й, 44-й, переговоры неба и воды на коротких волнах?
Тогда еще я не верил, что не дождусь.

Суть дела отсутствует. Вытекла, как выбитый глаз.
У меня лишь одно желание, да и то вряд ли осуществимое:
пусть смерть, на манер пограничной вышки, предупреждает, как минимум,
трижды.

4:25

Думая о Приможье Чучнике

Что же это за сила всякий раз останавливает меня на линии слабо очерченной опушки,
посреди солнечных пятен и теней, этой невидимой грибницы,
зачинающей и рождающей, словно коршуны, в воздухе?
Что за сила посылает мне навстречу мяч,
которым, наверное, играют дети на пока еще невидимой мне поляне,
и несет у самой земли полную ветра шапку, слетевшую, наверное,
с головы пока что невидимого мне человека, разглядывающего высотную архитектуру крон?
И тогда, в один из этих немногих дней – что за сила
гнала нас через оцепеневший город, чтобы мы в конце концов оказались на берегу,
с кем-то еще, кто также задрал голову и отразился в серпе света?
Я тоже не знаю, когда судьба начинает проявляться хотя бы в самых общих чертах.
Во сне? Или под утро, когда идешь на звонок или стук,
улавливая знаки, включая свет? Когда выплывает неведомая земля,
полная танца и голоса?
Заканчивается ночная смена, все быстрее вращается двигатель;
на сон, как и на любовь, можно проектировать фильмы, можно давать имена,
взламывать, покрывать люминесцентной краской, можно пропускать сквозь них
рентгеновские лучи. Можно вообразить их листьями лавра.
Есть все-таки нечто более вещественное – дорога, по которой я быстро шагаю,
в беспамятстве, ведомый какой-то путаной, несвязной радостью,
не в силах повлиять на железнодорожное расписание, согласно которому поезд
всегда прибывает сюда в 4.25,
свободный, в итоге, от обвинений и оправданий, полупрозрачный, словно намокший парус,
пустой, как тростник,
открытый, погасший, неуловимый.

2. С белорусского

Андрей Хаданович

на дороге

по пояс в джинсах бредешь против течения трассы
твои мысли непуганные как иноходцы в прерии
и стерео-сквозняки как воздушные асы

новой аранжировкой гудят в плеере

облака над тобой без тормозов как авто
между пятым и тридцать пятым осиленным километром
никого не окликнешь и тебя не окликнет никто
и первый встречный окажется просто ветром

строишь воздушные замки масон-книгочей
вавилонскую башню с библиотекой пизанской
на этом свете так много книжек и кирпичей
а ты из всех факультетов не закончил даже цыганский

в трех дорожных столбах ты потеряться мог
и в мыслях так тихо – слышно как превращается муха
в слона и ты так долго в дороге что Бог
кажется созвездием Великого Винни-Пуха

сто пудов одиночества

I just called to say I love you
Stevie Wonder

сто пудов одиночества не поместятся в лифт
за окном то дождь то ливень то вовсе уже макондо
ходят мысли налево и влево склоняют шрифт
и начинаю с рифмы все остальное для понта

день нынче равен ночи типа игра вничью
манны небесной нет ну разве что манка
утром наступит вечер осень – я зуб даю –
будет сочиться влагой как нимфоманка

мокрая будет осень мокрая сто пудов
и не просохнет как горло и к февралю
но будь я даже негром преклонных годов
я возьму телефон и скажу что тебя люблю

Плакали, знаем!

Мальчик трех лет
шагает рядом с мамой,
а потом как свалится,

как трахнется об асфальт!
Коленка разбита в кровь,
но не плачет,
трехлетние мужчины не плачут,
подымается, отряхивается
и с независимым видом говорит:
«Чуть не упал!»

Мальчик четырех лет
лежит на операционном столе
и вот-вот заплачет,
потому что какой он уже мужчина,
когда тетя доктор копается
чем-то железным у него в писе,
спасибо, хоть родителей не пустили.

Мальчик пяти лет
дождался сладкой передачи
в своем загородном туберкулезном санатории,
и на радостях съел ее всю,
вот только ошибся шкафчиком,
и потом девочка что-то искала в нем,
ничего не нашла и заплакала,
и мальчик с ней за компанию,
потому что хрен с ними, с апельсинами,
в санатории карантин
и родителей снова не пустили,
вон они там, за окном,
машут ему руками,
пока он жрет чужую передачу...

Отец трехмесячной дочки
по дороге в лазерную клинику
подслушивает разговор.

Мальчик трех лет
шагает рядом с мамой.
«Мама, а знаешь, ты тоже умрешь!»
«Что ты несешь?!
Ты что, хочешь, чтоб твоя мама умерла?»
«Не, я не хочу. Я просто напоминаю».

Господи,
пусть врачаха с лазерной линзой не ошибется.

Береги в дороге всех Твоих раздолбаев,
всех слепых
и тех, кому сегодня закапали глаза.

Маленький нищий

Я знаю, никакой твоей вины,
кого б ни приручил ты алкоголем.
Сегодня ночью снился пьяный Голем,
привет из пражской... как ее?... весны.

Китайским мотылькам толкуем сны.
Повоем на луну, тылы оголим,
и скачем голым королем де Голлем
кинематографической страны.

Тепло щеки и костерок усталый
в сугробе утонувшего привала.
Утопленник проснулся в темноте.

Он чувствует, что воздух обезвожен,
и жабры-лепестки дрожат тревожно
в разбавленной планетами воде.

долгая дорога до горшка

а здорово было б взять да написать семейную сагу
про отцов и детей и назвать ее «долгая дорога до горшка»
томов так на сто пятьдесят привет бальзаку
если в принтере и у автора хватит порошка

капитально продумать сюжет навороченный и пространный
чтобы поток сознания – до середины днепра
чтобы любовник в постели скелет в шкафу утопленник в ванной
а на антресолях чемоданы истины красоты и добра

вот скажем филфак универа по самый спортзал набитый девицами
феньками и браслетами current music: all you need is love
он знакомится распространяется о цветах и траве тем более нет милиции
и помогает ей сдать латынь физру и старослав

он с детства любитель битлз она даже с курса сбилась

и говорит мол что делает в волосах твоих этот цветок
но когда поцелуй она дарит ему как людоедскую милость
он вспоминает сразу как хендрикс на тряпки порвал вудсток

она говорит что ее отец и брат нары на зоне греют
за групповое убийство ее предыдущего жениха
и пока они там мы должны пожениться скорее
как почти не знакомы? а кому же я до утра устраивала вдх?

тридцать две незамужние однокурсницы вели их словно под стражей
одиннадцать обкуренных двадцать одна бухая
и только в церкви где раньше размещался склад с брюквой и спаржей
он понял что любит ее – любовь она вот такая

гостей понаехало целый автобус как на экскурсию
последний раз он так парился когда учился брать аккорды с баре
через девять месяцев у нее был самый красивый живот на курсе
мальчику в честь сданной сессии дали имя оноре

от криков маленького гения с утра раскалывалась башка
но это полбеды ведь он оказался негодник редкий
посидит полчаса просто так а потом накакает мимо горшка
раз этак сто пятьдесят вот вам человеческая комедия предки

а теперь из него вырос ботан-препод под ропот и гомон
он следит как у студенток начинается интеллектуальный шок
пока он валит им мантру: романтический энтузиазм ирония гофман
и золотой горшок

золотой горшок

золотой горшок

Интимная гигиена

Принимая горячую ванну
с новым акриловым покрытием,
берешь заодно
и что-нибудь почитать.

Сегодня ты внимательно читаешь
надпись на пластиковом тюбике –
крем душ для интимной гигиены,
с нарисованной Афродитой,
масса нетто 210 гр.

«Нанесите на мочалку
или взбейте пену между ладонями
и нанесите на кожу».

Может, из этой пены, – думаешь ты, –
кто-то и родится.
Стоп, а крем душ – это что?
И почему тогда наносить на тело?

Молчит нарисованная Афродита.
Новое акриловое покрытие
тоже ничего не поясняет,
словно дает понять,
что нечего выпендриваться,
что твоя задача – просто сделать выбор:
на мочалку или между ладонями.

Но, погрузившись в ванну
по самую эврику,
ты ощущаешь свою беспомощность,
отчаянно хлопаешь глазами,
а буквы все равно размываются,
пока ты растираешь по лицу
соленую субстанцию
для интимной гигиены
душ.

Бармен-сюита

Работницам табачного завода
четвертый день, как не мила работа –
у них идет всеобщий «лаки-страйк».
И бар набит до верху слабым полом,
и там, где кто-то кажет очи долу,
для настоящих бабников – клондайк!

Наш бар – уютный, тихий и спокойный,
отгрохотали мировые войны,
с оружием не дружат земляки.
Да и потом, наш бар – на пароходе,
и шлюхи, что остались на свободе,
бухают на излучине реки.

Была одна, что больше всех бухала,
не опускала веки-опахала
и не стеснялась никого вокруг.
Она была по паспорту цыганкой,
а по привычкам – нашей содержанкой,
и хлеб насущный свой из наших рук

«зелеными» брала или рублями,
открыто не развратничая с нами,
поскольку была замужем, хотя
ее супруг, нормальный «вор в законе»,
за контрабанду срок мотал на зоне,
как этого и требует статья.

Построив глазки уличному сброду
у стен тюрьмы, она брела ко входу,
ждала, пока пропустит часовой,
который не встречал девчонок краше,
и день за днем он ждал красотку нашу,
от страсти помирая роковой.

Он так хотел, чтоб как-нибудь в Севилье,
они его мечты осуществили,
святого позадействовав отца.
Он не читал «Кармен» – какого хрена?
А я на пароходе был барменом
и видел эту драму до конца.

Тот вертухай, он относился к баскам
и с недоверьем относился к баксам,
но этот путь помог ему едва:
он дарит ей цветы, а крале – по фиг,
ни сладости не радуют, ни кофе,
совсем другое дарит ей братва.

Он бредил в круглосуточном режиме,
ночами повторяя это имя,
что путают то с кармой, то с кормой.
А барышня сидела в нашем баре,
о подходящей тосковала паре
и безучастно чавкала хурмой.

Пластинка в баре крутится, играя –

доигрывает сторона вторая.
Прибывший с Андалузии нацмен
врывается в наш бар, как есть, без маски,
и матерясь – конечно же, по-баскски –
стреляет в бесприданницу Кармен:

«Ну так не доставайся ж никому ты!»
Такой вот джаз, такие вот замуты,
сейчас в моторе кончится завод.
А завтрашний Тургеневоостровский
натешится и бросит по-матросски
луч света – в темном царстве вешних вод.

ты знаешь кто такие боб дилан и дилан томас
я знаю только то что я твой верный фанат
что я – когда я с тобою – бываю ручной как тормоз
а ты со мною – самой ручной из всех на свете гранат

что я с тобою маленький голый ныряльщик цейлонского рая
когда ты снимаешь номер и трусики слово – ненужный спам
молния твоего платья бьется как шаровая
электрическим током по пальцам и по зубам

что мы собираемся в пазл и пульс – далеко за двести
что я ложусь а ты сидишь на мне как наркоман
и слыша твои слова: подожди давай кончим вместе
кто скажет что мы дочитываем один на двоих роман

Две ложки соли на кружку теплого моря –
того, что течет с волос и на лице не стынет.
Просачиваешься сквозь границу на встречу со светлым *tomorrow*
и впадаешь в море в районе Гданьска и Гдыни.

Мокрый ветер, с утра мозги промывая,
извилины ваших маршрутов корректирует очень кстати.
Мимо тебя пролетают тучи, птицы, трамваи,
электрички на Мальборг и катера с Вестерпляртэ.

Иностранные языки изучаешь по караоке.
Джаз-фестивали чаек на молах и пирсах.

Любая девчонка – ангел, чаще всего – кареокий.
На языках без костей встречается пирсинг.

В планетарии спишь под одеялом Большой Медведицы,
и загораешь под хмурым небом на зло прогнозам;
фигура, которая издали красною кожей светится,
лицейский учитель, поэт с обгорелым носом.

А потом вышлешь по почте или напишешь в посте
стишок-оправдание твоей и чужой бессонницы,
что ты вел себя тут, как и положено гостю:
не сгорал на буйках и не заплывал за солнце.

Рождественский рэп

В стране, где полные тормоза нажимают на тормоза,
по четвертому разу одно Рождество отмечать – совсем не шиза,

чтобы жители, как наркоманы, снова чувствовали приход
новогоднего праздника с вечно новым названием «Новый год»;

где фортуна, как снежная баба, улыбнется тебе анфас
и поздравит с каждой витрины: *«с рождеством и колядами вас!»* -

ты не видишь, летишь на оленях северных в сторону Караганды,
пока Дед Мороз бородой из ваты замечает твои следы.

И в глазах полыхает север, и звезда – как во лбу дыра,
и на санках святого Николы заграничные номера.

И ты пишешь колядку, а выходит декабрьский рэп,
и ты пел бы, если б не полночь и не минус семь на дворе б.

Это полночи хватит еще на полжизни, куда б ты ни шел.
А назавтра в яслях выходной – лишь младенец, ягненок и вол.

Баю-бай, малыш Иисусе,
в Вифлееме и в Беларуси.

неведомые цветы лезут вверх на пределе эмоций
и зеленей чем банкноты их корешки и вершки

безбилетный *sputnik* земли перелетное солнце
делает круг по небу и садится тебе на очки

мотылек на ладони как сердце бьется без допинга
гусеница в атаку ползет словно танк сожгли
и весна раздевает землю до зеленого топика
и каждый прохожий любит голым пупом земли

Праздник поэзии (по мотивам Андрея Родионова)

Вечер поэзии, увы, переносится –
автор вчера получил в переносицу.

Автор хотел быть поэтом-хулиганом,
и не прочитает теперь ни фига нам.

Автор читал свои стихи проституткам.
На третьей строке его назвали ублюдком.

Молчание – золото, слово – серебро.
Автор ответил. А ему – под ребро.

Автор нас баловал изящными строчками,
пока теплым вечером не дали по почкам.

Любитель Бодлера, переводчик Паунда
не продержался до конца первого раунда.

Для чужих мозгов не жалея пудры,
на компьютере выдрачивал про любовь все утро,

держался за мышку на зависть микки-маусу,
а вот в реальной драке взял и застремался.

Автору заехали шикарным ботинком,
поэтому мы отменяем вечеринку.

Упал на землю, вот и песня вся.
Вечера не будет. Праздник удался.